

— Пошли помоем руки, они лишние — в рыбе и саже. Мы поднялись и шагнули от костра в плотную стену ночи. Шагнули, прорвали границу тесного мира, и все кругом преобразилось. Новый мир, окружавший нас, не имел ни верха, ни низа. Над нашими головами висело бездонное небо, у наших ног лежало бездонное озеро. Мощный свет луны торжествовал над всем, он светил нам в спину, и на воде не было видно его отражения. Но озеро, пугающе черное, беспроглядное, все до краев заполнено луной. Она остро поблескивает на стыке берега с водой, она рассыпалась бесшумными искрами, играющими на середине. Озеро играло, а небо величаво молчало. Песок, та твердь, на которой мы стояли, был смутно-дымчатого цвета, такими должны казаться ночные облака ангелам под их ногами. А позади волновался покинутый костер, просто костер, уже не центр мироздания. И мрачная, глухая, монолитная, вздыбившаяся до самой луны зубчатая стена леса.

Робея перед величием, мы подошли к самой воде. Майя присела на корточки, запустила руки в воду и тихо ахнула:

— Теп-лая!

Упруго разогнулась, обернулась ко мне — окруженное мраком волос лицо, прохладно-светлое, соперничающее с Луной.

— Хочу выкупаться!

И потянула через голову платье, стала отчаянно бороться с ним...

Она входила в воду робко — шаг, и застывала, собираясь с духом перед шагом грядущим. Бездонность раскинувшегося озера перед ней. А я стоял затаив дыхание, любовался. Луна сверху обливала ее, теперь только ее одну, весь остальной мир сразу потух перед ней, погрузился в непроглядность. Узкая, яркая, струящаяся вниз, от вздернутых острых плеч к ногам, — вся, вся из зыбкого света, несмело льющегося перед опрокинутой, обморочной вселенной! Пронзительно беззащитная и владычествующая — Афродита могла родиться только из воды!

Обрывая пуговицы, я рванул с себя рубаху...

Черная устрашающая вода была матерински ласковой, Мы плавали рядом, нешумно плескались, время от времени задевая друг друга то рукой, то ногой. Майя смеялась тихо и судорожно. Ее серебряный нервический смех уносился вверх и тонул под Луной. И долго мы не осмеливались вылезти из нежных, греющих объятий воды.

Зато на берегу воздух был жестко колюч, подхлестывал,

заставлял выкидывать коленца возле разбросанной одежды. Майка топтала под Луной свою тень — ослепительно бледная, скользкая, дикарски неистовая и дикарски откровенная, первобытно не тронутая стыдом Ева. Я сгреб свою и ее одежду, сунул ей в руки.

Рывком обхватил, поднял на руки. В упор уставились ее безумные глаза. Сквозь мокрую прохладную кожу сочились в меня глубинное тепло ее тела.

Прогоревший костер проводил нас в темноте укоризненно багровым оком.

Безумные глаза вплотную у моих зрачков.

А утром мы проснулись, накрытые широкой тенью леса, озеро было невинно розовым и дымилось. Усердный коростель кричал на том берегу.

6

Утром мы радовались утру — длинным теням на прохладном песке, листве кустов, отягощенных росой, даже такой малости, как трясогузка, беззаботным аллюрцем гонящая у самой воды: «Эй, здравствуй, живая душа!» Трясогузка нас знать не хочет, трусит себе, трясет отточенным хвостом, никакого внимания, а вот на прибрежном мелководье паника — хлопанье, плеск. Утки! Срываются и летят тяжело, низко, низко, задевая крыльями гладь озера.

Днем мы продолжали радоваться тому, что давал день: скрипящим уключинам, вздрогнувшей леске, золотому окуно, вырванному из темной воды вместе с радугой.

У Майи особый дар радоваться — без восклицаний, без умилений, с благодарной немотой, только глаза углубленно темнеют и лицо непроходяще светоносно, да в губах этакая кроткая повинность. Кажется, ничего ей больше не надо, всем довольна, всего хватает, дышит счастьем, но... жадна до нового — хочу!..

Наткнулись на заводь, заросшую белыми лилиями. Майя, перегнувшись через борт, долго висела над первым цветком, потом разогнулась и потребовала:

— Хочу здесь почевать!

И хотя место для ночевки было не очень-то удобное — сырое, комариное, — мы остались. Она целый день ходила увешанная лилиями, била на себе комаров, ничего не делала, негромко распевала «Я помню время, время золотое...». Тихо счастлива.

Я исподтишка любовался Майей и удивлялся той незримой зависимости, в которой нахожусь от этой девчонки:

не смогу улыбаться, если не будет улыбки на ее лице, не смогу не страдать, видя слезы на ее глазах, не представляю себе жизни без нее, она и есть, наверное, тот высокий, божественный смысл, который люди искали почему-то на небе, — рожден для нее. Назовите это рабством. Нет! Скорей нелегкая свобода, продиктованная необходимостью. Необходима — и все тут!

В очередной раз мы пристали к берегу, чтоб разжечь костер, сварить свою неизменную уху, и наткнулись на мужчину в майке с незагоревшими городскими телесами, худенькую женщину в пестром сарафанчике. Они молитвенно стояли на коленях, голова к голове, раздували костер, который не занимался. Займись он, дай дымок, мы бы проехали мимо, считая этот кусок берега уже колонизированным.

Состоялось знакомство: москвичи, муж и жена, Андрей Петрович и Любовь Казимировна. Он — ученый-медик, не лечащий, а что-то исследующий, она — врач, педиатр. Никакой лодки у них не было, даже надувной, зато за кустами стояли утомленно-пыльные «Жигули». Они свернули подальше с шоссе, чтоб переночевать на берегу. Едут же они, как выразился Андрей Петрович: «Из Москвы в Питер через Бердичев». То есть с заездами куда глаза глядят. Сейчас их занесло на пустынный берег Валдайского озера, быть может, завернут в Старую Руссу, а вообще свой отпуск они собираются провести под Ленинградом, у родственников в Комарове.

Мы с Майей переглянулись.

— Покажем этим бледнолицым, чего мы, здешние старожилы, стоим?

— Покажем.

— У нас в лодке полдюжины окуней и две приличные щуки. Не найдется ли у вас, чем их смочить?

— Найдется, — обрадованно объявил ученый-медик с незагоревшими плечами.

— Тогда задаем бал!

И я занялся костром.

Через час готовая уха в закопченном котелке стояла на траве, в костре доходили до нужной кондиции щуки в «Литературной газете», Майя с Любовью Казимировной сервировали раскинутую простыню. Андрей Петрович делал нетерпеливые круги, торжественно держа за горлышко бутылку коньяка.

Звякнули сдвинутые стаканы и эмалированные кружки.

— За ваше здоровье!

— За ваше!..

И потек разговор, как капризный ручей, с загибами, с застоными заводями, с быстрыми перекатами вспыхивающего смеха, вскипающего спора, но упрямо к одной просторной, как растекшаяся перед нами гладь воды, теме. О чем могут говорить русские интеллигенты после стопки спиртного на берегу необжитого озера, под буйным закатом, когда над сумеречными лесами полыхают нагроможденные друг на друга облака и над черной водой назревает серая пелена тумана? Не о радости бытия, не «остановись, мгновенье», о том, о чем говорят в городе и за семейным столом с загостившимися знакомыми, — о человеческом несовершенстве, начиная с Адама. И, уж конечно, тут каждый — судия и мессия.

Андрей Петрович воркующим баритоном убеждал меня через котелок, опорожненный от ухи:

— Меняется оснащение жизни, а отнюдь не сама жизнь. Люди и сотни, и тысячи лет назад так же, как мы сейчас, страдали от подлости, так же любили и ненавидели, не сильнее, не слабее, не иным макаром!

— Неправда! — резко возразила вдруг Майя.

Андрей Петрович ухмыльнулся со всепрощающим снисхождением к неумудренной юности.

— Вы уверены?

— Я знаю.

— Вам кто-то напентал из прошлого?..

— Сказали вслух.

— Какая-нибудь старушка, божий одуванчик: мы, мол, в наши времена любили иначе. Не верьте — любили так же.

— А если Сумароков из восемнадцатого века сказал, вас это больше устроит?

— Гм... — Андрей Петрович, должно быть, имел весьма смутное представление, кто такой Сумароков.

— Вы не знаете его стихотворения «Тщетно я скрываю сердца скорби люты»? Любовное! Я напому концовку:

Знаю, что всеместно пленна мысль тобою,
Вображает мне твой милый зрак;
Знаю, что вспаленной страстию презлою,
Мне забыть тебя нельзя никак.

Вот так любили в восемнадцатом веке. А теперь вспомните пушкинское:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

Чувствуете, голос иного существа, куда более духовно совершенного. Можно в Пушкине представить такие наивные чувства: «...вспаленной страстию презлою»? Не знаю, сильнее ли он любит, но тоньше, глубже, сложнее, совсем иначе, не так, как любили до него. И ненавидел он уже по-иному, и страдал тоже...

Майя приподнялась над измятой обеденной простыней, скулы ее зардели, брови сдвинулись, в голосе появилась уже знакомая мне упругость. И я невольно почувствовал гордость за нее. Наши новые знакомые переглянулись, лицо Любови Казимировны стало почтительно-серьезным. Андрей же Петрович отвел глаза под опаляющим взглядом Майи, решился неуверенно возразить:

— Но это Пушкин... Так сказать, исключительного человека взяли для примера.

Да, после Пушкина уже нельзя стало любить по-старому! Только какой-нибудь приказчик мог признаваться в любви по-сумароковски: мол, я воспален страстию презлою... Для любого и каждого такая любовь казалась смехотворной. А в остальном?.. Можно ли представить, что в восемнадцатом веке кто-то стал бы страдать за Акакия Акакиевича? Забит, непригляден, самая высокая его мечта: «А не поставить ли куницу на воротник!» Потешным казался бы, а в девятнадцатом веке... Достоевский сказал: «Все мы выросли из гоголевской «Шинели». То есть жалкий Акакий Акакиевич знаменем стал. Со времени Сумарокова до смерти Пушкина оснащение жизни не так уж и сильно изменилось — как ездили на телегах, так и продолжали ездить, паровозы появились позднее, как был крепостной строй, так и остался, а вот духовная жизнь перевернулась, иначе любить стали, иначе страдать, иное ненавидеть!..

Чадил костер в стороне, от него истекал во влажный вечерний воздух аромат зашекшихся щук, но никто о них и не вспоминал, все глядели на Майю, стоящую коленями на траве, с гордо вскинутой взлохмаченной головой на тонкой шее.

Андрей Петрович сокрушенно крикнул, произнес:

— А Пушкин-то вроде Иисуса Христа у вас получается.

— Да! Да! — страстно согласилась Майя. — Считают,

великий поэт, и только-то. «Я помню чудное мгновенье...» написал, ах, как красиво! А забывают, что красота — это сила, более могучая, чем оружие. Ни Александры Македонские, ни Наполеоны мир сильно не изменили, а вот создатели Евангелия и Пушкин — да! Вы, конечно, сейчас скажете: изменили, да плоховато, до сих пор жалуемся. Ну, а если бы Пушкиных не было — бр-р-р! — ходили бы, наверное, по земле волосатые обезьяны.

Андрей Петрович поскреб в затылке.

— М-да-а... А стыдно признаться, я Пушкина-то только в школе читал.

— Послушайте, — голос Майи дрогнул. — Отсюда же недалеко до Михайловского... Что вам стоит, у вас же машина... И нас с собой возьмите.

Любовь Казимировна повернулась к мужу.

— Андрюша, откликнись! — Тонем приказа.

Андрей Петрович взял бутылку, посмотрел в нее на закат.

— А рыбка-то там у нас не сгорела?

Я кинулся к костру. Остатки коньяка были уже разлиты по кружкам, когда я вернулся с горячей рыбой.

Андрей Петрович поднял свою кружку:

— На посошок... в Михайловское!..

Выпил, крикнул, объявил:

— А все-таки, уважаемая Майя Ивановна, все-таки у вас упрощенный взгляд на историю...

Ночью я отогнал нашу лодку в Нелюшку.

7

Он был грузный, рыхлый, с красным добродушным лицом, золотящимися, едва намеченными бровями и жесткими соломенными ресницами. Ему под пятьдесят, имеет звание доктора наук, заведует исследовательской лабораторией, экспериментирует, публикует статьи.

— Весьма скучные, — вставила Любовь Казимировна.

И сн не возразил, только ухмыльнулся. Мечта его жизни — разобраться в одной таинственной болезни, которая не так уж и часто случается, но еще ни один человек на свете, заболевший ею, не выздоровел. Ни один! Недавно от нее умер академик Тамм.

Она маленькая, худенькая; растрепанно чернявая, как

вороненок, очень некрасивая, если бы не выразительная подвижность ее лица, поминутно изменчивые, умные, обжигающие глаза.

Любовь Казимировна — дочь известного в свое время физиолога, одного из учеников великого Павлова, в сороковые годы заклеянного как противник павловского учения. Отец ее умер от инфаркта, а она стала тем незаметным и незаменимым врачом, который днем пропускает через себя длинные очереди больных детей, а ночами срывается на срочные вызовы.

— Учтите, Павлуша, — обращалась она ко мне, — моя профессия становится редкой. Нынче все медики или учат, или учатся, лечить некому.

И с лукавой искрой косилась на своего ученого мужа.

Минутно острая на язычок, Любовь Казимировна могла молчать часами, оставаться в нашей маленькой компании незаметной. Не в пример Андрею Петровичу, не перечитывавшему со школьной скамьи Пушкина, она даже переводила стихи Гейне с немецкого. Но прочитать нам свои переводы не согласилась.

— У профессионалов с Гейне не получается. А уж у меня и вовсе...

Я замечал, что при дорожных знакомствах люди раскрываются друг перед другом куда охотнее и откровеннее, чем перед старыми, испытанными временем знакомыми. Излить сокровенное случайному попутчику уже потому легче, что можно не опасаться никаких последствий — исчезнет с концом дороги из твоей жизни попутчик, увезет твое сокровенное, не расскажет недоброжелателям, превратно не переосмыслит, дурно не использует, а посочувствовать — да, может! А сочувствие-то не чему-нибудь — сокровенному, оно драгоценно.

Новые знакомые узнали, что мы с Майей только-только поженились, это наше свадебное путешествие. И тогда они поведали нам о себе. Несложную, заурядную историю запоздало исправленной ошибки.

Он был аспирантом ее отца, часто бывал в их доме, и тринадцатилетняя девочка при встрече церемонно называла его «дядя Андрюша». Жизнь разнесла их, у него появилась семья, она тоже вышла замуж. У него выросли дети, у нее детей не было. Встретились снова совершенно случайно через восемнадцать лет! И каждый удивился: она тому, что он хорошо помнит ее, он ей — помнит его. Оба в отдалении друг от друга жили в меру спокойно и в меру благополучно, знали семейные заботы и семейные радости,

работали, даже преуспевали. Но прежнее рухнуло, размеренный покой сменился тревогой, устойчивое благополучие — неустроенностью, простенькие повседневные заботы — неразрешимыми осложнениями. Ему тогда давно перевалило за сорок, ей за тридцать, а они назначали друг другу свидания: «У входа в метро «Парк культуры». И он со своим солидным брюшком, с солидной профессорской физиономией ждал ее с юношеским нетерпением. И неприкаянное сиротство: куда спрятаться от людей, как побыть вместе? И самое неприятное — каждый из них дома был вынужден лгать. Долго терпеть эту унижительную ложь было нельзя, они объявили во всеуслышание. Их осуждали, их презирали, их ненавидели, а они любили друг друга и сами себя тоже осуждали, презирали, порой ненавидели тоже.

Недавно они сошлись, сейчас, как у меня с Майей, у них был медовый месяц, свадебное путешествие. Еще приобретенные в уравновешенной жизни «Жигули» — теперь единственное их имущество и единственное прибежище, даже квартиры нет своей. Вернутся в Москву и будут жить у приятелей, уехавших на год за границу, вновь столкнутся: он — с претензиями бывшей жены, она — с мстительной обидой бывшего мужа.

И все-таки они сейчас радовались — непреодолимое пройдено, они уже вместе, а будущие неприятности не столь страшны по сравнению с тем, что осталось позади. Они нам завидовали, он сдержанно, она восторженно, но оба искренне.

— У вас обычное человеческое счастье, дорожите им. Вовремя увидели друг друга, ни препятствий, ни ошибок, ни провалов. А уж какая это чума — осуждение со стороны, — вы, слава богу, и представить не сможете. Ровной скатертью путь, его можно оценить, когда увязнешь в ямах...

А Майя украдкой косилась на меня теплым глазом.

Дорога длинная, эта история заняла лишь крохотную ее часть. Нам ее доверили, и мы уже к ней больше не возвращались.

Заполнял наш дорожный досуг Пушкин. Даже не столько его стихи, сколько он сам. Я поражался — знаю Майю вот уже несколько лет, но только теперь вдруг открылась мне. Да и сейчас далеко не все ведомо, что в ней лежит. Майя пока выдавала только Пушкина... Она даже внешне изменилась — лицом стала старше, во взгляде убежденная смелость, а меж густых бровей напряженная

складочка, еще не успевшая стать умудренной морщинкой. И все тот же, поражающий меня, упруго звучный голос.

Наши новые знакомые взирали на нее едва ли не с робкой почтительностью — несведущие ученики на наставника, вещающего откровения. А то, что говорила Майя, и в самом деле было откровением. Полное впечатление, что она лично знала погибшего более века тому назад поэта, знала всех его родственников, друзей и даже его самые сокровенные мысли.

И Михайловское ожило для нас еще до того, как мы увидели его своими глазами.

8

Ровно сто пятьдесят лет тому назад, 9 августа 1824 года, в коляске, собравшей пыль российских дорог юга и севера, он въехал сюда, в родовое поместье Ганнибалов «с калиткой ветхою, обрушенным забором». Строго было наказано: «Нигде не останавливаться в пути!» И коллежский секретарь, вычеркнутый по приказу императора из списка чиновников министерства иностранных дел, вынужден был спешить в свою ссылку. Почти две тысячи верст осилили за десять дней, значит, лошадей гнали по пятнадцати, ежели не более верст в час. Скорость для того времени предельная.

За спиной осталась солнечная беспокойная Одесса с ее морем и Хаджибейской бухтой, с кутежами на кораблях, приплывших из дальних краев, с экзотическими личностями, вроде мавра Али, «корсара в отставке», в шитой золотом куртке, обвешанного оружием. Остались пронизательные, любящие поэзию друзья, обаятельные, тонко чувствующие женщины. И театр, где в последний — перед отъездом — вечер давали Россини, оперетту-буфф «Турок в Италии».

И вот глухая псковская деревня: сумрачный сырой бор, тощие пашни, кособокие стожки, свинцовая вода озера Маленца, три сосны на холме — граница владений Ганнибалов. «Все мрачную тоску на душу мне наводит...»

Так же лениво течет в зеленых берегах темная речка, все так же стоят кособокие стожки и тенистый михайловский бор по-прежнему окружает усадьбу, правда, уже музейно обихоженную, не с ветхой калиткой, не с обрушенным забором.

Но безвозвратно уничтожена самая характерная особенность этого уголка старой России — захолустная тишина, окружавшая опального гения. «Незарастающая народная тропа» к этому памятнику превратилась в широкую триумфальную дорогу, пропускающую паломников не только «всей Руси великой», но и всего земного шара. Автобус за автобусом, вереницы легковых машин, мотоциклы, велосипеды, стадные экскурсии и неорганизованные дикари-одиночки, поджарые дамы в брючных костюмах, темных очках, широкополых шляпах и патлатые девицы в заношенных шортах и со сбитыми коленками, бритые молодящиеся старики с походкой вприпрыжку и дремуче бородатые юнцы с выгоревшими рюкзаками на плечах, слоняющиеся вразвалочку, азиаты в радужных халатах и негры подчеркнута европейского вида, туристская деловитая озабоченность — как бы чего не пропустить! — и восторженная экзальтированность, натужная внимательность добродетельного обывателя и отрешенная замкнутость тех, кто еще не теряет надежды без суеты «подышать пушкинским воздухом». И русская речь перемешана со всеми языками мира. И полупраздничная атмосфера массового гуляния. Век девятнадцатый погребен под веком двадцатым, трудно доконаться до былого.

Вот аллея Керн, попробуй сосредоточиться, едвастроишься, едва вызовешь в себе: «Я помню чудное мгновенье...» — громкий, трезвый голос экскурсовода за твоей спиной начинает кому-то вещать:

— Впервые Пушкин встретился с Анной Петровной Керн еще в 1819 году у Олениных...

Но мы были терпеливы, дождались вечера. С рычанием беря крутизну тригорской дороги, ушли экскурсионные автобусы, стало пусто и тихо вокруг.

Мы поднялись на гору, где в тени высоких деревьев старые могильные плиты покоили под собой прах Осиповых и Ганнибалов, вышли к обрыву, к знаменитой онегинской скамье. Здесь любил сидеть поэт и «даль свободного романа» как «сквозь магический кристалл, еще неясно различал». Уселись рядом на этой скамье и мы, надолго притихли.

Длинные вечерние тени пересекали зеленый луг с ныряющей по нему речкой, дремотно темнел михайловский бор, в лиловом мареве утопали дали. Лицом к лицу с нестареющим бытием, лицом к лицу, как он полтора года лет тому назад.

Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!
В уединенье величавом
Слышнее ваш отрядный глас...

Он был очень юн, когда написал эти строки, ему едва исполнилось двадцать лет, но уже страдал той всеобъемлющей болью, которая убийственна для себя, целителя для человечества.

Оракулы веков!.. Он стал одним из них, отрядный глас которого несется через столетия ко мне, кандидату биологических наук, занимающемуся странным для Пушкина делом — изучением поведения мельчайших организмов в почве.

Он, собственно, учил насущно простому — как любить и как ненавидеть, что прощать и к чему быть беспощадным, уметь чувствовать и поступать. Насущно простое, без этого человек не может жить среди людей.

Но простое не значит легкое, к заветной простоте, как правило, пробиваются через путаницу сложных понятий. И я не могу похвалиться, достиг ли нужной простоты в отношениях с другими людьми. И никак не поручусь, что у меня с Майей не возникнут досадные — не дай бог, того хуже — сложности. Мне кажется, что нельзя любить сильнее, чем люблю ее я. Мне кажется, но... Могу ли я, если вдруг она от меня отвернется, сказать ей с таким всепрощающим великодушием, как когда-то сказал Пушкин:

Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Ой, нет, не убежден.

Или же...

Свободы сеятель пустынный.

Я вышел рано, до звезды:

Рукою чистой и безвинной

В поработанные бразды

Бросал живительное семя...

Я прокляну себя и свою судьбу, если не сумею что-то посеять для других! Но сумею ли я выстоять, если эти другие станут с равнодушием топтать мой посев?

Бросал живительное семя —

Но потерял я только время,

Благие мысли и труды...

Пушкин и после этого откровения продолжал бросать живительные семена, не упал духом. Сумею ли я?..

Я сидел на краю онегинской скамьи и смотрел вниз. Те-

ни накрывали зеленый луг, тускло тлел на закатном солнце отягощенный старостью михайловский бор, дали сгущались в тревожную грозовую просишь.

Достойный ли я ученик тех великих оракулов, что учили чувствовать благородно и поступать правильно?

Как я проживу свою жизнь? Не наделаю ли непоправимых ошибок? Не сорвусь ли в суетность?

Не обману ли я надежды Майи, встречей и сближением с которой считаю себя не по заслугам осчастливленным?

Я оглянулся на Майю, ее профиль был строг и чист, глаза устремлены вдаль, губа в скорбящем изломе, руки сцеплены на коленях. О чем она думает? Не о том ли самом, что и я?

Спасибо Майе, она подарила мне эту очищающую минуту! Буду помнить ее всю жизнь.

Спутники наши тоже пребывали в сосредоточенном молчании.

«Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!»

Глава четвертая

СУМЕРКИ

1

Мы вернулись домой. Нас ждали новости.

Майин отец после сдачи очередного объекта переведен с повышением. Раньше он намеревался подать в отставку, перейти в гражданские строители, теперь от этого, похоже, придется отказаться. Не исключено, его ждут генеральские погоны.

Майина мама начала вести переговоры о квартирном обмене. Операция сложная, многоступенчатая, быстро ее не провернешь, но можно все же рассчитывать, что где-то через год, никак не раньше, мы будем иметь отдельную двухкомнатную квартиру на той же улице, где живут и Майины родители.

А Боря Цветик разбил свой «пожарный» «Москвич». Вины его в том нет. У тяжелого самосвала, шедшего впереди, на ходу слетело колесо, ударило в «Москвича», смяло крыло с фарой, повредило переднюю решетку и капот. Хорошо, что обошлось без увечья.

Но самая большая новость ждала меня в лаборатории. Для посторонних эта новость никак не могла казаться значительной. В стеклянной колбе, спрятанной от света в шкаф, в некоем мутном студне появились пятна со ржавым оттенком — подумаешь, какое событие! И в самом деле это означало лишь то, что один из видов бактерий, накапливающий азот из воздуха, сейчас плодился в стекле. Возможность такого события я робко предсказывал еще два года назад и, признаться, не рассчитывал, что оно случится так скоро.

Пустяк? Пожалуй.

Но в исключительно редких случаях такие вот пустячки переворачивали существование всего рода людского.

Когда над Европой минули наполеоновские войны, а сам Наполеон еще сидел на острове Святой Елены, копенгагенский профессор Эрстед, показывая студентам опыт с гальванической батареей, заметил, что стрелка компаса, случайно лежавшего рядом с проводом, отклоняется в сторону, если включают ток. Маленькое движение стрелки — пустячок, а с него и началось: закрутились роторы генераторов, по континентам протянулись высоковольтные линии электропередачи, промышленность стала развиваться небывалыми темпами, мир заполнился разнообразными машинами, появились радио, телевидение, изменились мы, изменилась наша жизнь, изменилась планета. А все с не замеченных историками пустячка...

Казалось бы, я должен ликовать, но...

Но сам факт размножения бактерий в стеклянной колбе становится важным лишь тогда, когда удастся раскрыть их тайну тайн, заповедный секрет: как и чем они раскалывают непосильную даже для человека за его могущественной техникой молекулу атмосферного азота? Об этом еще никому ничего не известно — желанное в яичке, яичко в уточке, уточка в небесах! Возможно, даже наши редкостные бактерии если еще сейчас не потеряли, то, не исключено, могут потерять свою неведомую силу. Возможно, в искусственной среде они вырождаются в ничем не примечательных микробов, способных лишь к бесхитростному размножению. А возможно, наконец, что и наш эксперимент недостаточно чист — выводы преждевременны, радоваться погодя. Даже если и все благополучно, то впереди тысячи задач, и не обязательно каждая из них должна иметь ответ. Зато впереди обязательно неудачи, без них никогда не обходится...

А потому Борису Евгеньевичу я сказал:

— Свежо предание, а верится с трудом.

Он понимающе кивнул головой.

Однако дома Майя, готовящая ужин, с любопытством приглядываясь ко мне, спросила:

— У тебя сияние ото лба. Что случилось?

— Нашел перо жар-птицы, только боюсь, не обронил ли его обычный павлин.

— Ну-ка! — Командным голосом: — Садись ужинать и рассказывать!

Сама села напротив, подперла щеку кулачком, в глазах притаившиеся бесенята, во взметнувшихся бровях замершее бабье счастливое любопытство. Она ничего еще не ожидала в те дни от жизни, кроме удач, она убежденно верила, что любая новость, — непременно радость, иной быть и не может.

Перед Борисом Евгеньевичем, умудренным и скептическим, я просто не мог не высказывать озабоченного сомнения: «Свежо предание...» А перед Майей?.. Кому мне поверить свои тайные надежды, как не ей!

Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку...

Зверюшка родилась у нас, Майка, ин витро, в стекляшке. Долгожданная...

Она не переставала глядеть на меня с ожиданием, детским и жадным, и мое воображение разыгралось.

— Улучшенные почвы, высокие урожаи, Майка, — это, конечно, благо, да! Но еще не все, наверняка не конечная остановка. Наши зверюшки черт-те какую дверь перед нами распахнут. Уж если будет открыт их секрет — скажем, вещество, которым они мертвый азот делают живым, — то это, возможно, станет таким ключиком, какой пока держал в руках лишь один господь бог. Взнуздать азот, приказывать ему: связывайся с такими-то и такими-то элементами — значит научиться творить живое. Принципиально возможно объединить знания о наследственности, то есть секреты генов, с нашим секретом, тогда появится возможность искусственно создавать особые растения, какие-нибудь сказочные яблони с золотыми яблоками, или особую мышечную ткань, способную заменить теперешние двигатели, воняющие и с низким КПД... Все фантасты, Майка, представляют сейчас будущих роботов в виде эдаких железных шкафов с железными руками и ногами — монстры

с начинкой из радиодеталей. А почему бы не представить их из живой ткани, из мышц, костей, внутренних органов — да, искусственно выращенных. И можно добиться, что питаться такие роботы будут самым дешевым на земле веществом — тем самым мертвым азотом, из которого состоит наш воздух. Не все, ох, не все боги твари на такое способны. Кто знает, что нам поднесут зверюшки? Может, и ничего, кукиш незримый, а может... Может, новый мир, совсем, совсем не похожий на наш нынешний!

И Майка, каменея вскинутыми бровями, впитывала мои слова. Я не обманул ее ожиданий, я сумел ее удивить.

Я излился, и мне стало стыдно за себя — еще ни с кем так не разговаривал, так не распускал свою фантазию. Эка, в какие тартарары меня занесло — к биороботам! Но ведь я это не кому-то, а Майке! Из всех людей она одна способна сводить меня с ума, я и раньше обещал ей невозможное — перпетуум-мобиле изобрету!

Наконец она пришла в себя, пошевелилась и произнесла:

— Слушай, я хочу их видеть.

— Кого, Майка?

— Ваших неведомых зверюшек.

И я окончательно вернулся на землю: ну все, сегодня она от меня потребует — покажи зверюшек, завтра — биологического робота! Терпение и умеренность, как известно, ей не свойственны.

— Майка, да они же невидимы... Так, грязные пятна.

— А в микроскоп?..

— И в микроскоп они не красавцы, вульгарная амеба куда внушительней, а какой-нибудь циклоп и вовсе Аполлон перед ними.

— Нет уж, ты мне их покажешь... И вообще я еще ни разу не бывала в твоей лаборатории... У меня идея...

Я невольно сжался — идеи ее всегда были для меня небезобидны, а тут они ворвутся в нашу лабораторию, оглушат моих сотрудников, того и гляди перевернут все вверх дном.

— Давай, Павел, обмоем рождение неведомых зверюшек.. Хочу! У вас в лаборатории! Наконец, с твоими со всеми познакомлюсь... Пора же.

Обмывать положено не закваску в квашне, а готовый пирог. Но в одном-то Майя, как ни крути, права — пора ей сойтись с моими ребятами! В конце концов, почему бы и не устроить сабантуй, разумеется, самый умеренный.

Меня всегда удивляет, как внушительно выглядят экспериментальные лаборатории на экранах кино и на фотографиях популярных журналов — святилища, где священнодействуют жрецы науки! Я видел разные лаборатории — многозальные, многоэтажные, и тесные конурки, где копаются несколько человек, — ни одна не похожа на другую, у каждой свое лицо, но у всех есть нечто общее, роднящее — отсутствие парадности, видимость неустроенности. Даже те, которые были созданы во времена оны, прославлены, видели в своих стенах корифеев, даже они, если не стали показательно музейными, а продолжают добывать знания, кажутся всегда не до конца обжитыми, несколько неуютными. Рабочая лаборатория постоянно меняется, переустраивается, всегда в ней что-то сооружено на скорую руку, что-то еще не доделано, некогда подумать о внешнем виде, а потому стулья разнокалиберны и колченоги, а лампочки под потолком казенно голы, не осенены абажурами.

Наша лаборатория занимала нижний угол нового корпуса — «краеугольный камень института», шутили мы без гордыни. Две большие комнаты друг над другом, одна в полуподвале, другая в бельэтаже, переборками отгорожены закутки — «архивная» и мой утлый кабинет с конторским столом и продавленным диваном. Стены, крашенные охрой, давно утратили первобытную свежесть, их удручающего впечатления не могли скрасить ни элегантные, новейшей конструкции вытяжные шкафы, ни эмалево-белые холодильники.

Майя свято верила, что я пахожусь на самом передовом рубеже науки, а раз так, то и мое святилище должно выглядеть по-передовому, как в киножурналах. Я видел разочарование на ее лице — ничего многозначительного и таинственного, умопомрачительно сложного, командую бесчисленными рядами пробирок, скорей какие-то научные задворки, чем блистательный передний край.

Длинный стол в верхнем зале был освобожден от приборов, на листах стекла, которые служили полочками для чашек Петри, горками готовые бутерброды, в фаянсовой смесительной ванночке яблоки, вместо стаканов и рюмок мензурки, бутылки сухого вина и красного сладкого для любителей, в двух огромных колбах — эликсир собственного изготовления. Слава богу, мы достаточно изощрен-

ные химики, чтобы выгнать с чистотой слезы, нужным градусом, вкусом и запахом.

Сабантуи в стенах нашей лаборатории — не такое уж и редкостное явление. В исключительных случаях они даже негласно санкционировались начальством, например, почтить какого-нибудь зарубежного гостя, не настолько крупного, чтобы чествовать его всем институтом. Чаше же сабантуями и сабантуйчиками мы отмечали успехи своего автономного офиса — отмечены в печати наши общие усилия, получены долгожданные результаты или не менее долгожданная, нужная до зарезу аппаратура. Частные празднования, как-то — обмывание диссертаций, публикаций, в равной степени и дни рождений — мы проводили на стороне, в каком-нибудь ресторане города. В ходу у нас был лозунг: «Сабантуй — не праздник, а культурное мероприятие!» Он приобрел силу закона.

Этот закон не нарушился и сейчас — отмечали полученный результат. Однако две уступочки. Первая: результат еще недостаточно надежный, чтоб его обмывать. Вторая: присутствие Майи, человека, к результату не причастного, зато причастного ко мне, «главному имениннику». Уступки были приняты всеми как должное.

Я восседал на «председательском конце» стола, Майя — по правую от меня руку. Она тянула шею, крутила головой, округлившимися глазами следила за моими шумными и бесцеремонными сотрудниками.

Наше маленькое общество не лишено кастовости, правда, самой примитивной — есть так называемые коренники, есть «пристяжные», других нет. «Коренники» — тот, кто тянет воз и сам для него выбирает путь. «Кореннику» даже разрешается уходить иногда в сторону от нашей общей дороги — самостоятельная сила, которую если я и взнуздываю, то с оглядкой и осторожностью. «Пристяжной» своего воза не имеет, припрягается, куда укажут: лаборанты, практиканты, разного рода подсобники. Впрочем, среди подсобников есть такие, с которыми я считаюсь не меньше, чем с «коренниками», например, Гриша Мурашов, мастер-стеклодув, парень с золотыми руками и высокой амбицией. Я перед ним заискиваю столь же часто, как часто требую невозможного — скажем, такого витиеватого узла трубок с крапиками, какой доступен лишь моему изощренному воображению.

Я глядел сейчас на своих глазах Майи и понимал, что ей должны не нравиться «коренники» — развязны! — и

вызывать симпатию «пристяжные» — сдержанны и скромны!

Колбы с «домашним» эликсиром пошли по столу из рук в руки, сосед Майи, мой заместитель, тоже кандидат наук Никита Великанов галантно наполнил Майину мензурку.

— Фирменная микстурка, пользуется широкой славой, не попробовать ее в этих стенах просто непозволительно.

Он забыл лишь упомянуть, что микстурка имела более высокий градус, чем стандартная русская водка.

По традиции сабантуй открывал я, а потому встал, поднял мензурку:

— Знаете ли вы, что такое солнечный зайчик?

Никого не удивил этот вопрос, ибо все от меня ждали именно какой-то нелепости. Послышались услужливые ответы, не менее нелепые:

— Неуловимый зверь!

— ...И шкуру которого не поделишь.

— Видимость и нечто!

— Ну так этот зверь заскочил к нам,— продолжал я.— Что может означать сей визит?

— Лишний повод к лирическому настроению!

— Или оптический обман!..

— Куцее мышление! — возмутился я.— Если есть солнечный зайчик, то, значит, есть и само солнце!

— А может, этот зайчик отразила разбитая бутылка!

— Может, и бутылка, но отразила, а не родила сама светлого зайца. Он есть, он нам посветил, выпьем, друзья, за этот неверный проблеск!

Выпить не отказались, дружно чокнулись, дружно опрокинули, и лишь после этого запоздалое возражение:

— Почему все-таки неверный?..

Возразила Галина Скородина. Идея светлого зайца — того многообещающего штамма — была моя, но вырастила его она, Галипа, мой ассистент. Светлый заяц был ей сыновья дорог, верила в его реальность и в его великое будущее, всякие сомнения в нем принимала как личные оскорбления, тем более ранящие, что любой и каждый из нас носил в себе невольное подозрение: а достаточно ли чист был проведенный эксперимент?

Отвечать Галине мне не пришлось, это взял на себя Никита Великанов:

— Сивилла Кумская, посмеешь ли ты предсказать нам, что за куцый хвост этого зайца мы непременно вытя-

нем ясное солнышко, а не пустую бутылку. Проблеск, святая пророчица, уже потому сомнителен, что он слишком ярк, что слишком точно и вовремя упал в нужное место...

Никита Великанов — Фома неверующий среди нас, роль неблагодарная, но необходимая. На каждое наше «да» он обязан говорить «нет» и аргументировать свои сомнения, а значит, заставлять нас проверять и вновь перепроверять себя. Никита доблестно справлялся с обязанностями оппортуниста, постоянно порождая яростные споры.

Заспорили все разом и сейчас, лирический образ светлого зайчика сразу же улетучился, вместо него хлынул поток сухих ученых фраз:

— Вероятность мутации!..

— Утлая жестокая детерминация!

— Возможность рекапитуляции!..

Майя тянула шею, напряженно вслушивалась в этот несваримый для нее галдеж, явно чего-то жадно выжидала. Впрочем, мне ясно, чего именно. Она ждет продолжения нашего разговора. Не дай-то бог ей заняться выяснением — обсмеют! И ее, и меня!

Дома перед этой встречей я, правда, попытался дать отбой перед ней, просил забыть все несусветно фантастическое, что нагородил. Но разве можно заставить забыть Майю то, чем она загорелась? Вслушивается, настороженно посверкивает глазами, ждет...

Нет, она не услышала мсей немотной мольбы, улучив секундное затишье в споре, робко спросила. Впервые ее голос прозвучал над столом, непорочно чистый, детски простодушный:

— А почему вы ничего не говорите о почвах?

Все уставились на нее недоуменно.

— О каких почвах? — любезно поинтересовался Никита Великанов, привыкший на лету улавливать запах жареного.

— Да о тех, неплодородных...

— Не совсем ясно. Расшифруйте.

— Ну, которые ваши азотобактеры могут сделать плодородными.

В нашем фантастическом разговоре облагороженные азотобактерами почвы были началом начал, настолько очевидным, что уже не могли вызывать какие бы то ни было сомнения. А для всех здесь сидящих заветные почвы находились за гранью возможного, о них никто не смел еще и думать.

Никита Великанов, этот беспощадный бретер наших

диспутов, вдруг смутился. Я не успел прийти на помощь, ответила Галина Скородина, как всегда, сухо и агрессивно деловито:

— О практическом применении думать рано. Да и не наше это дело!

Галина Скородина из тех, кто пламенно любит науку, но не пользуется ее взаимностью — ей давно за тридцать, а все еще ассистент: угловатые плечи, плоский бюст, крупное лицо с мужским волевым подбородком.

Майя просительно оглянулась на меня, а вместе с ней уставились на меня все. А я... я почувствовал, что краснею.

— Но как же так: практическое — не ваше?.. А для чего тогда вы все это делаете? — Влажные глаза, смущенный румянец, растерянный голос. Майя и не подозревала, что ученые не меньше поэтов презирают утилитаризм.

— А для чего птица поет, цветок распускается? — вопросом на вопрос снисходительно ответила Галина и победно повела своим мужественным подбородком.

Никита Великанов любезно пояснил:

— Королева хочет сказать, что ей безразлично, кто понесет за ней ее шлейф.

— Королева?.. Шлейф?.. Найти и позади себя оставить — будь что будет, неинтересно. Это все равно что матери родить сына и подбросить его другим...

Майя продолжала оглядываться на меня, ждала помощи, а я... я боялся ее в эти минуты: простота хуже воровства — вот-вот наивно ляпнет про биороботы, что ей стоит.

Мои ребята называли себя «джентльмены удачи», я же для этих «джентльменов» был суровым капитаном, всегда жестоко требовавшим: «Не возносись на воздушных! Святы для нас только факты. Все, что сверх, то от лукавого!» Я чаще других употреблял как ругательство «манюловщина». И вдруг откроется, смех и грех — возмечтал черт-те о чем, строю тайком воздушные замки, мальчишествоую. То-то все будут опарашены, хоть сквозь землю провалились.

— А можно представить себе и другую мамашу, которая, не успев еще разродиться, заказывает для будущего сына генеральский мундир или мантию академика, — отчеканила Галина Скородина.

— Вы никогда, никогда не мечтаете?

— Какой прок в этом?

Майя решительно повернулась ко мне.

— Павел, они шутят?

— Майя... потом тебе все объясню.

Должно быть, моя физиономия была слишком красноречива — боюсь невольного предательства со стороны Майи. Она это наконец учуяла и вспыхнула возмущенно:

— И ты!.. Ты тоже!..

— В нашей кухне, Майя, не говорят о скатерти-самобранке.

— Ты стыдишься!.. Меня?.. Пусть! Но себя-то зачем?.. Ты так красиво говорил...

— Майя!..

— Да что Майя!.. Говорил, что после вашего открытия станет возможным то, на что замахивался сам господь бог. Живое будете создавать — мышцы искусственные вместо двигателя...

— Майя!!

Она опалила меня взглядом и отвернулась в угол. Наступила тишина, всегнулись к столу, прятали корящую неловкость. Я знал, сегодня все, собираясь на сабантуй, сгорали от любопытства: что за жену выбрал себе капитан? Верили, не ошибусь и тут. И вот опущенные глаза, сочувствие...

3

Шли домой по бульвару, шагали локоть к локтю и — молчали яростно и упрямо. Стоял тихий свежий вечер — самый конец августа, было слышно уже, как с сокрушенным шепотом падает лист с деревьев.

Локоть к локтю, и каждый ждал выпада, был готов ответить.

Не выдержала она, сорвалась первая.

— Павел... ты иудушка!

Чуть слышно, с придыханием.

Я только что пережил унижение перед своими товарищами по ее милости! Я кипел гневом, а потому на резкий выпад ответил грубо, с ожесточением:

— Ты бы еще повторила всем, что я тебе говорю в постели. Люди добрые, у нас от вас секретов нет!..

И она обомлела:

— Ка-ак? Ка-ак ты смеешь?!

— Ах, тебе не нравится! Ну так мне тоже не доставляет удовольствия выглядеть круглым дураком.

— Ты подделываешься под дураков! Да! Да!..

— Как ты смеешь судить о них, если не представляешь, чем они живут, о чем они думают!

— Уткнулись в свои пробирки — ни видеть, ни чувствовать ничего уже больше не могут.

— Ну так вот, я из них самый пробирочный по характеру!

— Очень жаль, что ты так поздно в этом признаешься!

— Поздно признаюсь?.. А разве была нужда? Или я скрывал от тебя, что занимаюсь пробирочным? Или не говорил тебе ни разу, что именно из лабораторной пробирки пытаюсь выудить золотую рыбку, которая вдруг да сделает людей чуть счастливее?..

— Счастливее?.. Да вам же дела нет до людского счастья! Эта твоя с лошадиным лицом... она о нем и слышать не хочет! Ей главное — найти новенькое, полюбоваться, себя потешить, а там... Там ей плевать, что будет.

— Плевать?.. Нет! Мы не в пример какому-нибудь Гоше-пророку боимся иллюзий. Мы знаем, как легко обмануться, а значит, и других обмануть. Обман же мы считаем преступлением!

— А передо мной недавно зачем-то ты другим прикидывался, сказки рассказывал, иллюзиями потчевал.

— Перед тобой мог, перед ними не имею права!

— Да не виляй, я же видела, ты просто боялся быть перед ними самим собой, а потому... потому сразу же меня предал!

— Перед этим, не забывая, ты предала меня!

— Ага! Вот ваша высокая честность: обман — преступление! Друг перед другом раскрыться боитесь! Это не обман?..

— Выступить перед ними в роли, в какой я бываю с тобой?.. Не смешно ли?..

— Тогда какая же твоя роль настоящая, когда ты с ними или со мной?

— Та и та настоящая. Поднатужься и представь, что такое вполне быть может.

— Как же, представляю. Господь бог выступал в трех лицах, ну а ты поскромнее — всего двуличный!..

Стоял тихий свежий вечер, а мы шли и ругались, сварливо и самозабвенно доказывали друг другу — плохи, ущербны, обременены пороками. Мне, что называется, попала шлея под хвост — не уступал ни в чем, считал себя оскорбленным, изо всех сил старался взять реванш.

Утром мы продолжали дуться, но я уже испытывал стыд, раскаяние и острое недовольство собой. Так ли уж не права Майя: оказалась одна в чужой для нее компании, ждала от меня поддержки, а я... Нет, конечно, я не предал ее, но, право же, трусливо отстранился, а потом мелочно обиделся, помог раздуть чадное пожарище. Гадко!.. Я первый стал делать всяческие пасы к примирению, и Майя сдалась, мир в конце концов наступил.

Но что-то после этого между нами лопнуло, какая-то важная связь. Я чувствовал, Майя не может забыть унижения и враждебности, которые она испытала за большим лабораторным столом. Даже нечаянное напоминание о чем-либо, связанном с лабораторией, вызывало теперь у нее сразу или отчужденную замкнутость, или открытое раздражение: «Не хочу слышать! Отстань!» И говорить о моей работе стало опасно — мог нарушиться мир в доме.

А я каждый день уходил в институт, каждый день там что-то случалось — мелкие радости, мелкие огорчения, я ими жил. Жил и прятал их в себе, не смел сообщать Майе. Какая-то ее сторона вдруг оказалась для меня омертвелой.

По вечерам нам вдруг стало пустынной и скучней. Прежде для нас и молчание и болтовня были естественны, в голову не приходило искать повод для разговора, зачем, сам найдется. Сейчас же я постоянно спохватывался: а не слишком ли долго торчу за столом, ворошу оттиски и журналы? Не тяготится ли Майя в одиночестве? И я поспешно рассовывал все по ящикам, поворачивался к ней, два, три ничего не значащих слова и... сказать уже нечего. Надо мучительно искать тему для разговора.

Теперь нам стали доставлять радость неожиданные гости. Чаще других к нам являлся Боря Цветик, почти всегда без предупреждения, наскоком, и почти всегда он задерживался допоздна. Начиненный городскими новостями и свежими анекдотами, в шуршащей импортной куртке, открывающей широкую накрахмаленную грудь, лицо сдобное, румяное, в серых навывкате глазах влажное, ласковое благодушие, и тонкий запах одеколона «Атлант».

Он уходил, но занесенное им благодушие оставалось. Мы продолжали судить и рядить, не беспокоясь, что тема разговора иссякнет.

Чаще всего мы обсуждали самого Борю Цветика.

— Сколько он лет ездит уже к Лепочке в Комплексное?

— Много. Я еще в школе училась, как Боря вынырнул.

- И пропустил ли он хоть одну неделю?
— Когда свой «Москвич» разбил, ездил на электричке и непременно с цветами.
— Так почему они не женятся?
— Подозреваю, Ленка не хочет. С Борей же сутки в неделю провести приятно, больше — наскучит.
— Но Ленке не так уж и мало лет.
— Ну и что?
— Да то. За сомнительное счастье — раз в неделю встречаться со скучным человеком — терпеть неопределенность, продвигаться к старости. Нет, что-то тут не вяжется...

Прежде мы часто спорили, и по-крупному, на сугубо отвлеченное — иллюзии и действительность, смерть и бессмертие, — теперь нас устраивало и мелкотемье, почти что сплетни.

А тем временем пришел сентябрь с обложными облаками, с морозящим дождем, с ветром, срывающим листья на городских скверах. У Майи начались занятия в пединституте.

4

Наш промышленный город жил киловаттами электроэнергии, тоннами металла, кубометрами обработанной древесины. В нем было несколько высших учебных заведений, пользующихся достаточно широкой известностью, — физико-технический институт, институт древесины, агрохимии и почвоведения, с которым связал свою жизнь я... Пединститут, увы, был пасынком города. Он выпускал не промышленных специалистов, не научных работников, а школьных учителей. На областных конференциях, на страницах местных газет постоянно можно услышать и прочесть о высокой роли учителя, об уважении к нему. Но школьный учитель не помогал выполнять квартальные планы, снижать затраты, подымать производительность, а потому снять перед ним шапки готовы, подкинуть же средств — извините, не можем, нужны на другое. Остальные институты расширялись, расстраивались, обеспечивали себя сильными кадрами, педагогический ютился в старом здании, преподавательский состав в нем часто менялся, а его студентами, как правило, становились те, кто не сумел пройти по конкурсу в другие вузы. Или же вроде Майи, которых не привлекали ни инженерия, ни древесина, ни проблемы урожайности, а бежать от этого в нашем

городе некуда — только в пединститут, где существуют гуманитарные факультеты.

И какой-то поэт-неудачник, проходивший сквозь сей институт, оставил на память стихотворенье, передававшееся от старшекурсников абитуриентам:

Старый лозунг и священный:
Знание — свет, незнание — тьма!
В педобожий дом казенный
Засвятошило меня!

Майя нет-нет да и вспоминала его, явно тоже жалела — «засвятошило в педобожий».

Начались занятия. Навряд ли можно ждать — внесут разнообразие в жизнь Майи, а через нее и в мою.

Однако неожиданное все же случилось...

Как-то вечером Майя пришла с увесистой пачкой книг, с пылающим румянцем и горячечным блеском в глазах. Шмякнула книги на пол у порога, выскользнула из плаща, торжествующе на меня уставилась и объявила:

— Лед тронулся, господа присяжные заседатели! И у нас иногда пробивает!.. Так-то!.. Хочу есть!

За столом она мне сообщила: будет проводить показательный урок в школе! Казалось бы, новость так себе, самая умеренная. Майя еще в прошлом году проходила практику, давала уроки. Но дело в том, что на этот раз тема показательного урока — Пушкин.

— Паша, я, оказывается, тщеславна... Паша, я хочу, показать старичкам, на что способна! Ты же знаешь, Александр Сергеевич — мое заветное. Вот я и выдам без утайки своего Пушкина! Нет, нет, не «цветок засохший» в школьной хрестоматии — живого! Могу! Могу! Уже сейчас во мне кипит и рвется наружу, надо только выстроить...

И, как всегда в счастливые минуты, ее глаза становились отчаянными.

— Паша-а... «Педобожий дом казенный» — в нем скука, в нем рутина, никто ничего уже там не ждет друг от друга. А вот я всем... Понравится или нет — да плевать! — лишь бы увидеть, что проняла...

Ее безумие всегда передавалось мне.

В нашу тесную уютную квартиру ворвался вселенский хаос — книгами завалена тахта, книги на стульях, книги громоздятся на столе, даже в углу возле дверей стопа книг. Большинство из них не открываются, нужны лишь, чтобы своим присутствием напоминать о важности свершающегося момента — Майя в творческом порыве, не шути!..

Я выселен из комнаты на кухню, но не забыт, едва ли

не через каждые пять минут раздается клич, меня призывающий:

— Павел!..

И я мчусь сломя голову, зная наперед, что ничего особого не случилось — очередной раз должен разделить восторг перед гением Пушкина.

Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

— А!.. Фейерверк! Можно ли ярче сказать о городе?! И какова скорость? Чувствуешь? Нашему веку, севшему на машинный, не угнаться.

И невольно поражаюсь, нет, даже не гению Пушкина, а себе: читал же это место, даже запомнил его, но почему-то ничуть не удивился, принял как должное, как само собой разумеющееся.

Мое скрытое удивление видят, его по достоинству оценивают, торжествуют и... гонят вон, чтоб не мешал. Я ухожу, почтительно унося в себе выплывшую из прошлого счастливо-неструю картину: «...И стаи галок на крестах».

Перед сном мы голова к голове подбиваем итоги дня.

Я не могу забыть Майю на берегу Валдайского озера: еле чадающий костер, смятая на траве простыня-скатерть, тихая-тихая гладь воды и она на коленях, взвинченная, горячая. Она тогда нам открыла нечто поразительное — революцию в любви, от скудной к богатой, от Сумарокова к Пушкину! Я хочу, чтоб то же самое она открыла на уроке и ребятам. Перед ней будут сидеть не малыши, а пятнадцатилетние юноши, поймут.

Она соглашается со мной:

— Поймут, но мне того мало. Пушкин велик, Пашенька, за сорок пять минут хотелось бы пробежать от подножия к вершине, да еще успеть кинуть вниз взгляд.

— По всей горе скоком? Зачем? Открой один склон — достаточно.

Я отбиваю у нее куски рукописи — на выброс, она их храбро защищает, но в конце концов сдастся. И это, право, льстит моему самолюбию...

Теперь я стараюсь не задерживаться в лаборатории по

вечерам, спешу домой — да, чтоб сидеть на кухне и ждать придушенного восторгом крика: «Павел!..» Дома пылче суматошно и радостно вечерами. И когда я наскоро свертываю свои дела в лаборатории, то улавливаю сочувственные, иногда ироничные, иногда сокрушенные взгляды — попал под каблучок! Не скажу, что это не огорчает меня. Хотелось, чтоб в какой-то момент, тоже решающий и горячечный, Майя была со мной вплотную, так же как я с ней сейчас. Но тогда ей неизбежно придется сталкиваться с моими товарищами, а они не принимают ее, она их. Жаль...

Вечером накануне знаменательного дня я вернулся с работы, она не слышала, как я вошел, дверь в ванную была открыта. Майя стояла перед зеркалом в позе Жанны д'Арк — воинственная вещательница! — и вещала своему отражению о сокрушительной силе пушкинской лирики. Я замер, боялся шевельнуться, долго слушал...

Неосторожный скрип паркета под ногами заставил ее обернуться. Она смутилась, но не очень.

— Генеральная репетиция, Пашенька. У меня должен быть внушительный вид.

Утром она облачилась в темный джерсовый костюм, перехваченный широким поясом, воротник белой батистовой блузки у шеи — чопорно строга, кажется выше ростом, только щеки рдеют молодым легкомысленным румянцем да глаза сияют тревожно и вызывающе нескромно. Как жаль, что не я, а кто-то другой увидит ее там — пылающее лицо, обжигающий взгляд, — услышит ее взволнованно рвущийся голос. Зависть до ревности! Это не защита диссертации, всего-навсего лишь показательный урок, присутствие родственников на нем исключается.

Я проводил ее до автобусной остановки.

— Ни пуха ни пера.

— К черту! К черту!

А сам кинулся к ближайшему автомату, чтоб позвонить Боре Цветику: нужны цветы, по возможности самые яркие, самые пышные, у нас сегодня торжество! Боря каждую неделю где-то их достает для Леночки. Даже среди зимы...

5

В этот день я лишь на пару часов заскочил в лабораторию — боялся пропустить возвращение Майи.

Низкий журнальный столик перед зеленой тахтой я накрыл белой скатертью, на него поставил букет кипенно-

тучных хризантем — спасибо Боре, расстарался. Крупные цветы чуть слышно пахли травянистым увяданием — грустный запах самой осени. Рядом с ними черная литая, как снаряд, бутылка шампанского. И блеск стекла, нетерпеливый, праздничный. И взведенная тишина в доме. И счастливое брожение в моей груди...

Не открывается ли именно сейчас, собственно, сама наша семейная жизнь — надежные будни до скончания и моего, и ее века? До сих пор Майя шагала вперед вслепую, неуверенно, мог ли и я не чувствовать под своими ногами некую зыбкость. Теперь перед ней распахнется какая-то даль, откроется, что хочет, увидит, чего сможет достичь, поверит — я надежный попутчик. И пойдем мы бок о бок, я к своему, она к своему, к разному, но в одном направлении. Совместимость путей человеческих — не досужий вымысел, а обыденнейшая реальность, неисчислимые тысячи людей попарно так вот и шествуют через жизнь. Тот же Пушкин, кумир Майи, как-то обмолвился в одном письме: «Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах».

Я ждал, время шло, Майя задерживалась. Уже начали гущаться сумерки, уже пришлось зажечь свет. Букет хризантем при электрическом свете выглядел еще эффектнее, чем днем. И скатерть сияла ярче, и стекло блестело веселее...

...Щелкнул в дверях замок, меня подбросило, я ринулся навстречу! Она переступила через порог, и я невольно попятился: серое лицо, провалившиеся глаза, страдальчески сплюснутые губы, и нет прежней подтянутости, плечи обвалены, руки висят...

— Майя... что?..

Она с усилием крутанула головой, молча стянула плащ, волоча ноги, прошла в комнату и толчком остановилась... Перед праздничным столом!

Сияла непорочно чистая скатерть, ласкали глаз насыщенно окрашенные, пышные хризантемы, и мрачно-торжественная бутылка шампанского целилась в потолок серебряной головой.

Майя боязливо обогнула стол и плашмя свалилась на тахту. Узкая спина затряслась от беззвучных рыданий.

Она мистически понимает великого поэта... Причину исторических изменений ее Пушкин видит в деятельности отдельных личностей. Она поставила творчество поэта в

зависимость от сердечных увлечений. Ни слова не сказала о роли народа и народности... Она легкомысленно игнорировала программу обучения и явно не ознакомилась ни с одним методическим пособием... И вообще все не то и все не так, как нужно!

И последнее было, пожалуй, верно: Майя действительно стремилась — а я, как мог, тут ее поддерживал — сказать не то, что все уже говорили, взглянуть на Пушкина не так, как его другие видели. А присутствовавшие на показательном уроке педагоги, достаточно старые и достаточно опытные, в течение всей своей длительной жизни добросовестно усваивавшие, что именно нужно и как нужно — крепко усвоившие! — сильно, видать, возмутились таким безрассудным своеволием. И еще удивились, ведь в пединституте-то учат тому, что нужно, каким же образом эта девица оказалась столь неосведомленной?

Старый лозунг и священный:
Знание — свет, незнание — тьма!..

С трудом, слово за слово я вытащил из Майи подробности.

Она сидела передо мной — оброненные на колени руки, спина бескостно согнутая, лицо потускневшее, с тем перекосом, какой я всегда видел у нее в минуты душевного разлада, и веки опущены, глядит нелюдимо в пол.

— Что случилось со мной?.. — произнесла она глухо и недоуменно. — Недавно твои приняли меня за круглую дурочку, теперь эти... Ох, как они друг перед другом старались, кто сильнее приложит, кто больней режет... Что же случилось? Может, я и в самом деле стала хуже?..

И у меня тоскливо засосало под ложечкой: она рассчитывала на меня, рассчитывала — помогу, открою, выведу! И вот мир повернулся изнанкой — я рядом, и я бессилён... Вряд ли она собиралась упрекать меня. Но взгляд в пол и голос глухой, отстраненный...

А на столе, покрытом неестественно чистой скатертью, пышные, вкрадчиво богатой гаммы хризантемы, устремленная вверх бутылка шампанского... Несостоявшийся праздник — злая издевка!

Хризантемы скоро увяли, а бутылку шампанского спустя несколько дней распил со мной Боря Цветик, неунывающий друг дома.

Я всегда любил, проснувшись, видеть поутру заплаканное дождем окно, обещающее скучный, серенький день. В эти минуты я испытывал самодовольное счастье. На всех людей затяжной дождь наводит тоску — их сегодня в точности походит на их вчера, и даже столь малое, как хорошая погода, уже разнообразие. У всех так, а вот я, извините, иной. Еще вечером, ложась спать, я с надеждой ждал новый день, именно такой вот, внешне ничем не отличающийся от прошедшего, никак не праздничный. В праздники мне пусто и неуютно, не знаю, куда себя деть. В будни меня ждет работа, всегда новая, не похожая на ту, что была вчера, всегда что-то обещающая. И серенькое утро с мокрым оконным стеклом — гарантия: будни исполнят свои обещания.

Так было всегда, но теперь заплаканное окно вызывало у меня невольное чувство вины. Причина — Майя! Могли ли я самодовольно радоваться серенькому дню, когда знаю, с какой неохотой она собирается в институт. «Педобожий дом казенный» стал ей еще невыносимей после провала на показательном уроке. А этот дом на другом конце города, даже добираться до него под дождем наказание. И невольно думаешь, завтра ей ничего не принесет — тот же дождь, тот же день. И что дальше?.. Серо и тускло без просвета.

Майя по утрам особенно пасмурна и неразговорчива.

По вечерам тоже. Вечерами нам просто не о чем обмолвиться словом. О моей работе — нет, не смей! О ее учебе — нет, не упоминай! Особенно о недавней горячке с Пушкиным — тут уж воистину в доме повешенного не говорят о веревке.

Сейчас у нас в комнате все прибрано и расставлено по своим местам — добропорядочный скучный порядок и чистота. Книги собраны и разнесены по библиотекам. И чего-то надрывно ждешь, ждешь: господи, хоть бы пожар или землетрясение, лишь бы не тишина. Но дождь за окном, только дождь. Даже Боря Цветик не заглядывает в гости, отсиживается дома.

В один из таких вечеров Майя, лагая бесцельно по полкам, вытащила Иеронима Босха. Он так долго стоял забытым, что даже корешок лакированного супера успел пожелтеть.

- Откуда это у нас? — удивилась она.
- Подарили мне. Давно.

— Кто?

— Одна женщина...

Я никогда ни в чем не лгал Майе, ничего перед ней не умалчивал.

Сведя над переносицей суровые брови, она внимательно принялась изучать цветные босховские кошмары: всадников на опрокинутых кувшинах, рыб, летающих под облаками, тошнотных зеленых химер, химерические физиономии людей...

— Кем была та женщина?

— Научным бродягой и добрым человеком.

— Почему она сделала тебе именно такой подарок? Тебе что, очень нравится Босх?

— Скорей неприятен.

— А мне он нравится! — объявила Майя с мрачным торжеством. — Гляжу — и жутко. Это не смазливая «Незнакомка»...

Она, оказывается, не забыла «Незнакомку», даже в голосе сейчас мстительные нотки. «Незнакомка» теперь суеверно пугала меня — с нее началась неудовлетворенность Москвой, закончившаяся скандалом пред глумящимися масками. Нынче у нас все так натянуто и так ненадежно — не хватает лишь скандала. Я ничего не ответил и лишь украдкой перевел глаза на стену, где висела бесхитростная смеющаяся «Рябинка».

— А той женщине это нравилось?

— Не знаю, мы никогда не говорили о живописи.

— Нравилось, если держала у себя. Мы, наверно, похожи...

— Вы совсем разные. Она была очень одиноким человеком. У тебя родители, у тебя муж, полно знакомых, ты крепко связана с миром. У нее никого.

— Я связана?.. Нет! Кажется только. Оглядываюсь, — и страх берет — пусто...

Я рассердился.

— Меня принимаешь за пустоту — пусть! Но отца с матерью пустотой считаешь?!

Насупив брови, Майя долго молчала, наконец вздохнула и сказала:

— Ты прав... Просто я теперь какая-то исковерканная. У меня невезучая полоса... Никто в этом не виноват. И тебя я люблю. Да!.. И хочется тебе сделать что-то хорошее.

Но Босха она не отложила, листала и вглядывалась в него допоздна.

На следующий день, вернувшись с работы, я застал Майю дома, она встретила меня загадочным взглядом.

— Взгляни. Нравится?

Со стены над тахтой исчезла хохочущая «Рябинка», вместо нее раскинулось полотнище, траурное и тесно набитое несуразно угловатым — нечто бычье, нечто крокодиле-лошадиное, нечто человечесьё, спутано, перемешано, вопит, корчится, задирает уродливые конечности.

— Это Пикассо. «Герника»! — объявила она.

— А тебе... нравится? — спросил я.

— Да! Жуть берет.

— Не пойму, почему жуть должна доставлять наслаждение?

— Десятки лет весь мир восхищается этой картиной!

Не впервые Майя упрекает меня, что мои вкусы и взгляды расходятся со всем миром. Не скажу, что мне доставляет удовольствие моя обособица, рад был бы походить на всех, но и притворяться перед собой не могу.

И меня удивляет Майя. Ей нравится, сомнений нет, фейерверочное, светлое, пушкинское:

Балконы, львы на воротах

И стаи галок на крестах.

и вышито от отца

Нравится и это — «жуть берет». Как может в одной человеческой душе укладываться столь несовместимое?

Наверное, то и другое лежит у нее в разных этажах — в верхних, светлых, и в подвальных, темных...

А в общем, жаль исчезнувшей «Рябинки». Жаль, как утраченного детства.

И снова тягостное молчание по вечерам. Только теперь над нами издевательски ржала со стены лошадино-крокодилей пастью «Герника».

7

В современных романах и пьесах часто показывается эдакий ученый муж, самозабвенно увлеченный наукой, из-за своей благородной занятости не уделяющий жене достаточного внимания, а отсюда мелодраматический конфликт. И кажется, стоит только слегка пожертвовать увлечением — мужу уделять больше внимания жене, жене быть чуточку снисходительнее к мужу, — как драма исчезнет, мир и благополучие восторжествуют в семье!

Я, право же, старался быть внимательным, больше того,

готов был стать бесконечно нежным — «Не мужчина, а облако в штанах!» — если б она в этой нежности нуждалась. Все свободное время я проводил с Майей — вечера наши! Ей меня хватало с избытком, не хватало другого... Чего? Ни я, ни она ответить не могли.

Я из кожи вон лез, чтоб не слишком обременительные семейные заботы не ложились на ее слабые плечи: по пути с работы заскакивал в магазины, толкался в очередях, нес в авоське домой бутылки с кефиром, до ее прихода старался прибрать квартиру, и часто она заставляла меня с засученными рукавами, до блеска надраивающего ванну.

Но вместо похвалы и умиления слышал досадное:

— Ну что ты в бабьи дела лезешь!

Сведенные брови, презрительно вздрагивающие уголки губ.

Нет, я не обладал бронированной кожей, уязвим, как и все, а перед Майей и подавно — словно освежеван. Недовольное движение ее бровей, не пускающий в себя взгляд вызывали во мне острую боль, заставляли корчиться, долго саднили. Иногда она спохватывалась — обидела ни за что, — старалась сгладить вину, хвалила:

— А ванна-то блестит, я бы так никогда ее не оттерла.

Жалкая подачка, скупой кусок нищему! Но ведь и мое — подмести комнату, отдраить ванну, вымыть грязную посуду — тоже подачка вместо чего-то, что она истомленно ждала. Слишком скудное! Она вправе оскорбляться.

Мелочи, житейские мелочи — как комариная толкучка, обещающая надвигающуюся грозу.

Она нашла спасение от гнетущего молчания — принесла от родителей магнитофон с записями, по вечерам включала его.

В тот вечер магнитофон пел:

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела...

Женский голос, свободный и бесстыдно счастливый — откровенная исповедь в том, что принято скрывать среди людей.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья...

У меня все сжалось внутри, хоть кричи. Столь же невероятно счастливое было и у нас. Да, было! Мы нашли друг друга — это само по себе невероятное чудо. Среди мелькающих мимо по жизни тысяч и тысяч людей, в пестром человечьем водовороте я разглядел тебя, ты меня. И сошлись — никаких препятствий, никто не вставал между нами на пути, ни зависть, ни злоба не были нам помехой! Сказочный Черномор не уносил тебя за тридевять земель, ни денежно-корыстные расчеты, ни суетные сословные предрассудки, не было ничего такого, от чего страдали влюбленные в романах прошлого века... Свободно и просто: нашли друг друга и соединились, живи во всю силу, ощущай счастье — «судьбы скрещенья»... Но почему ты сейчас сидишь спиной ко мне? Почему натянутое молчание? Мы рядом и мы врозь! Почему?...

И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал...

Такое прекрасное и такое доступное, оно утрачено нами! Почему?..

И все терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Я встал и подошел к ней.

— Майя...

Она вздрогнула и выключила магнитофон, песня оборвалась. Темный глаз смятенно скользнул по мне и спрятался.

— Что сделать? Подскажи! Как вернуть тебя? На все готов!..

Ее губы горько скривились

— Стань больным.

— Больным?!

— Да, лежачим, беспомощным, неспособным подняться по крайней нужде.

— Зачем, Майка?

— Тогда я была бы тебе нужна. А сейчас... сейчас ты так легко обходишься без меня. Я ни к чему... Я просто существую рядом, коичу небо...

Я опустил ся возле нее, взял ее за руку, стараясь заглянуть в опущенное лицо, в спрятанные глаза.

— Хочу, Майка... Хочу пробиться к тебе... Разгляди поближе, поверь хотя бы в одно — нужна, нужна! Свет клином на тебе сошелся, весь свет! Без тебя ничего не станет радовать, ничего не нужно, все бессмыслица — живой труп без тебя!.. Люблю и не представляю жизни... без тебя!..

Она не отняла руки, не отстранилась, и под упавшими ресницами влажный блеск, и в губах изнеможенно страдальческое, просящее защиты.

— А ты можешь мне сказать, за что... за что ты меня любишь? Мне это очень нужно знать. Без этого ответа мне трудно верить...

— Я люблю тебя не за что-то, Майка... Ты есть, и мне вполне этого достаточно, чтоб любить!..

— Но я же не вещь, Павел. Я живая, как и ты, мне, как и тебе, нужно что-то делать, действовать. И... в неподвижности, в окаменелости! Не двигаюсь, не живу!..

Да, стон, да, отчаяние, но не ожесточенность, голос слаб и умоляющ, в нем потаенная надежда.

— Чем же ты сможешь помочь мне, Павел?.. Чем?!

В тесной комнате с задернутыми шторами вдруг словно потянуло возвышающей свежестью той фантастической ночи с опрокинутыми в воду деревьями, ронщащими лягушками, приклеенной улыбкой мироздания в небесах — возвращенное прошлое!

Я чувствовал в себе прежние силы, и прежнее неистовство прорвалось наружу:

— Майка! Время и терпение — и мы откроем друг другу свое! Мы оба не бедны, не убоги, у каждого есть, есть — и немало! — что-то для другого! Придет день, и мы станем ужасаться — как это раньше не видели залежи! Да, да, Майка, доброты, чуткости, жертвенности, черт возьми!.. Во мне все это хранится для тебя, в тебе — верю, верю! — для меня!..

Я говорил, она слушала и тихо прислонялась ко мне.

Я обнял ее, гладил по спутанным волосам, жалость и нежность захлестывали меня. Утерянную, я обретал ее вновь и опять испытывал перед ней мальчишескую скованность, словно впервые обнимал ее: доверчивая податливость, связанность, затаенная робость — таинство, перехватывающее дыхание. И бессильная рука, сочленение хрупких косточек, брошена на литое колено. И на белой натянутой шее завитки мягких волос...

Она шевельнулась под моими руками, подняла голову, вскинула заполненные мраком глаза, засасывающие до го-

ловокружения. И вздрагивающие, нетерпеливо ждущие губы рядом...

Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья...

8

Утро было обычное, серое, дождливое, за заплаканными окнами придавленные мутной толщей тяжелого воздуха, мокро лоснящиеся, нагроможденные друг на друга крыши. В ущельях, стесненных домами, траурные каналы асфальта.

Из окна я заметил, внизу собралась толпа, стояли две канареечно-желтые машины милиции, светлый микроавтобус «скорой помощи». В доме напротив, похожем на наш дом, как зеркальное отражение, этой ночью что-то стряслось. Но город отучает людей от любопытства: мало ли чего в нем происходит, порой даже беда, случившаяся за стеной, канет незамеченной — незнаком с соседями, равнодушен к ним. И я, кинув взгляд в окно, тут же забыл.

Как всегда, спеша — не опаздывали, по въевшейся привычке, — мы с Майей сбежали вниз, чтоб расстаться у автобусной остановки: ей ехать, мне идти пешком. Но толпа напротив нашего подъезда грозно разрослась. И машина «скорой помощи», и машина милиции, и угрюмые милиционеры у распахнутых дверей, сердито оттирающие излишние любопытных.

На улице чужое несчастье стало ближе, чем оно выглядело из окна. Мы перебежали мостовую и оказались в толпе.

— Что тут? — бросил я вопрос в накаленный воздух.

Парень с рыжими бачками из-под надвинутой на лоб кепки, не глядя на меня, коротко ответил, словно уронил гирию:

— Убийство.

Старичок в изъеденной молью древней пыжиковой шапке, с потертым, вымученно-блеклым лицом хорька, возбужденно приплясывавший, с ужимками оглядывавшийся во все стороны, почти ликующе пояснил:

— Сынишка-сопляк из ружья отца родного! Хвать со стены — и будь здоров, папаша. Никаких!..

Кругом сердито зароптали, заволновались:

- Молодежь нынче пошла.
- Пил отец-то, скандалил. Тут его все знали.
- Яблочко от яблоньки...
- А сколько лет мальцу?
- Да школьник еще. Говорят, за мать заступался.
- Все одно колония.
- Идут, идут!

Милиционеры ринулись на толпу, стали раздвигать.

— В сторону! В сторону!.. Граждане, не толпитесь!.. Ты, старый, тут не вертись, шел бы домой!..

Из темного подъезда показались несколько человек в штатском, быстрым, деловитым шагом прошли сквозь раздвинувшуюся, почтительно притихшую толпу к одной из милицейских машин, но сесть в нее не спешили, не глядя друг на друга, стали закуривать.

Толпа дрогнула и подалась вперед.

— О-он!.. Он!..

Рослый милиционер громадной красной рукой с предупредительной бережностью придерживал за локоть до неустойчивости тонкого парнишку — коротенькое незастегнутое пальто, расклепанные брючки, тупоносые тяжелые ботинки, гривка мочально рыжеватых волос с затылка, лицо узкое, до зелени бледное, стертое — никакого выражения! — лишь глаза, янтарно застывшие и прозрачные насквозь, пусты. Лет пятнадцать, не больше.

Я вдруг почувствовал на себе пристальный взгляд. Один из штатских, что вышли из подъезда раньше преступника, стоял у машины, из-под надвинутой шляпы смотрел на меня, на прижавшуюся ко мне Майю. Тонкогубый широкий рот, резкие жесткие складки от носа и таящиеся в тени глаза, выбравшие из толпы меня. Наши взгляды встретились, и он неожиданно смутился, поспешно отвернулся, бросил недокуренную сигарету.

Почему-то этот взгляд вывел меня из равновесия, он, похоже, не был враждебным, угрюмым тоже не назовешь, но какой-то не случайный, что-то хранивший в себе, словно глядевший хотел запомнить и меня, и Майю. Я часто потом в тяжелые минуты вспоминал эти беспричинно направленные на меня, прячущиеся в затененных глазницах глаза.

И в тот момент что-то хрустнуло внутри меня. Должно быть, сломалась выношенная, надежная вера в существование жесткой границы между добром и злом. Мальчик с прозрачными глазами убил отца! Сын — отца! Того, кому обязан самой жизнью на белом свете. За возможность

жить не благодарность, а ненависть до предела — умри! Это уже не просто вырождение человечности — вырождение природы, сотворившей живое. Если бы плод сокрушал дерево, не успев еще созреть, то земля превратилась бы в царство минералов. Зеленый мальчик с прозрачными глазами... Должно что-то случиться с теми, кто это сейчас наблюдает, что-то, чему нет даже названия — не просто ужас, не только отчаяние, не некий осуждающий гнев, а всеохватно трагическое, апокалипсическое великое...

Но вокруг все толкались, сопели, стискивали друг друга, и я не чувствовал в людях ни ужаса, ни отчаяния, ни даже в полную меру удивления — лишь жадное оскорбительное любопытство. Право же, все станут жить, как жили, и скоро забудут это событие. Рубеж зла и добра — есть ли он? Ощущает ли его кто-нибудь? Бесчувственное неведение — не призрак ли грядущего конца, никем пока не замеченный, никого не пугающий?

Мы выбрались из толпы. И пока мы шли к автобусной остановке, Майя прижималась ко мне, искала защиты...

А я уносил неверие во все и вся. Люди связаны друг с другом, живое лепится к живому — да нет, мнимость! Близость случайна и ненадежна. И как трудно ее доказать! Вражда убедительна — вплоть до убить, до доказательства, которое уже нельзя опровергнуть!

До сих пор пружиной, толкавшей мою жизнь, было: люди ждут от тебя, не смей беречь себя, ради них отдай всего без остатка! Ждут?.. Нужен?.. Кому, собственно?.. Умри сейчас, ничто не изменится, никто не придет в отчаяние. Сверши великое — опять же мир не перевернется и краше не станет, убийства, злоба, зависть по-прежнему останутся. Оттопчи свое на земле и ухни в небытие — вот единственный нехитрый смысл твоего появления на свет.

И Майя... Нет, и она ничем меня не спасет. Случайно нас снесло вместе. Мол, рождены ты для нее, она для тебя! Не обольщайся — прекраснодушная иллюзия!

Я впадал в ересь: даже о Майе думал едва ли не с равнодушием, граничащим с предательством.

Я вошел в институт, и на меня налетел Никита Великанов, галошировавший по коридору.

— Слушай, наш шеф учудил!..

Горящая от возбуждения физиономия, стреляющий взгляд, волосы всклокочены. А я нес в себе мальчика-убийцу с прозрачными невинными глазами, ни о чем не мог думать, ничего не хотел знать, а потому перебил:

— На нашей улице ночью убийство... В доме напротив... сын — отца...

Никита спешил:

— Что?.. Кто?.. Черт! Ничего не пойму!..

— Я тебе говорю: сын — отца!..

— Все сегодня с ума посходили... Да ты слышал, что я тебе сказал?

— А-а!.. — отмахнулся я. — Я только что видел убийцу!

— Твои знакомые, что ли?

— Нет.

— Ах, да, конечно, конечно! По нервишкам ударило... Но, извини, у нас здесь чепе! Ты же вчера не был на ученом совете, а там... Ну-у, обвал! Наш Борис Евгеньевич обрушился на Пискарева и Зеневича...

— Пискарев — Зеневич?.. Какое мне до них дело... В первый раз они, что ли, грызутся...

— Очнись! По всему институту карусель — Лобанов на дыбы поднялся! Кто бы мог ждать от старика...

Совсем очнуться я не мог — мальчик с прозрачными глазами не выходил у меня из головы, — но тем не менее институтская карусель подхватила меня и понесла.

Борис Евгеньевич, с которым в последнее время я как-то не сталкивался вплотную, совершил то, чего от него никто не ждал: объявил войну, произнес на ученом совете обвинение...

За последние десять лет через руки Пискарева и Зеневича прошло столько-то аспирантов, столько-то защитили кандидатские диссертации. Собранные в один букет, темы этих кандидатских поражали унылой одноцветностью — избитые проблемы, «пережевывание чужой жвачки». Подготовка каждого аспиранта обходится государству во столько-то рублей, на так называемые лабораторные исследования подопечными Пискарева и Зеневича истрачено столько-то. И столько-то раз в стенах института подымались скандальные войны — пискаревцы на зеневичевцев, зеневичевцы на пискаревцев. Поводы невинны и мелочны, методы борьбы — групповые интриги, подсиживание, передергивание и подтасовка фактов. Но это еще не все, Борис Евгеньевич обратил внимание на спецзаказы. Солидные организации заключали договора на научные исследования и выплачивали крупные суммы, львиная

доля из которых шла на повышение зарплаты исполнителям. Пискарев и Зеневич энергично проталкивали в наш институт детей именно тех влиятельных отцов, которые и могли обеспечить их заказами. Борис Евгеньевич потребовал создания компетентной государственной комиссии, способной беспристрастно разобраться, что это за заказы и на каком уровне они выполнялись. Общий вывод: Пискарев и Зеневич превратили институт в школу интриганства и карьеризма на научной почве, формировали не просто слабых научных работников, но и безнравственных людей, представляющих определенную опасность для общества.

Все это я узнал через двадцать минут после того, как переступил порог института.

А еще через двадцать минут меня потребовали к телефону — сам ректор вдруг вспомнил обо мне:

— Павел Алексеевич, не смогли бы вы сейчас подойти... Да, да, желательно сейчас!

Нашим ректором был некто Иван Павлович Илюченко. Он за свою жизнь успел побывать и директором совхоза, и секретарем райкома партии, руководил сельским хозяйством области, да не согласился при Хрущеве с ликвидацией травосеянья, круто полетел вниз. Уже будучи не первой молодости, он поступил в заочную аспирантуру одного сельхозинститута, защитил кандидатскую, написал докторскую, тогда вновь вспомнили о его руководящем прошлом, предложили возглавить наш институт.

Себя он ученым не считал, но науке служил ревностно. При нем институт построил второе здание, расширил свои лаборатории, по-современному оборудовал их. При нем, Иване Павловиче Илюченко, у нас появились средства «удовлетворять собственное любопытство за счет государства», то есть открылась возможность свободного поиска, без которого немислима наука.

Мне не так уж часто приходилось сталкиваться с ним. Он ни разу не спустился в нашу лабораторию, не ревизовал нас, но в тех редких случаях, когда мне приходилось напоминать ему о себе, я не слышал от него: «Нет, не могу».

Это был стандартный на вид человек — среднего роста, средней полноты, круглая голова на просторных плечах, лицо с неистребимым крестьянским загаром, зачес с проседью, тщательно укрывающий скромную плешь.

И кабинет его был тоже казенно стандартен — обезличенный полированный стол с аккуратными стопками бу-

маг, с двумя телефонами, традиционный стол для заседаний под зеленым сукном, портреты на стенах, даже фикус у окна. Но, странно, он, стандартный Илюченко, не подходил к своему стандартному кабинету, каждый раз, как я видел его за письменным столом, у меня появлялось ощущение — случайно уселся, надо подождать, пока не придет настоящий хозяин.

Он проникновенно вглядывался в меня своими маленькими, глубоко посаженными глазами, наконец, задал вопрос:

— Как вы думаете, Павел Алексеевич, мне нравятся Пискарев и Зеневич?

— Смею думать, что нет.

— Они ко мне мчатся, чтоб облить грязью друг друга, а не к профессору Лобанову. Я, а не Лобанов, постоянно вынужден окунаться в их грязь. Никто так хорошо не знает их, как я, и никому так не тяжело от них, как мне.

Я выжидающе отмолчался, гадая, к чему эта исповедь. А Илюченко настойчиво ощупывал мое лицо.

— Вы согласитесь выступить с обличающими фактами, Павел Алексеевич? — спросил он. — У вас есть против них что-то такое... убедительное?

— Они меня не очень-то трогали, — ответил я.

Он с силой опустил широкую, мужичью, жесткую ладонь на полированный стол.

— Так!.. А у кого бы мне получить факты, дискредитирующие этих молодцов? Не подскажите?

Я пожал плечами.

— Больше всего они сами могли бы сказать друг о друге.

— Ну нет, теперь они дружно заявят, что их разногласия имели чисто научный характер, что каждый из них честно отстаивает свои принципы и позиции, но, увы, с некоторой, вполне понятной горячностью. И они картинно при всех еще принесут извинения друг другу...

— Создайте комиссию из ученых, они разберутся и выведут их на чистую воду.

Ректор невесело усмехнулся.

— Полезный совет, но... опасный.

— В каком смысле?

— На чистую воду никто и ничто не выплывет, а все мы увязнем в трясине. И произойдет это примерно таким манером... Вот профессор Лобанов упрекнул этих турнирных рыцарей, по меньшей мере, в десятилетней научной бесплодности. А вы думаете, что Пискарев с Зеневичем

покорно согласятся с этим? Нет, они резонно спросят: что за это время открыл сам профессор Лобанов? Да, у Бориса Евгеньевича большие заслуги, но все они относятся к довольно-таки отдаленному прошлому. За последние десять лет и профессор Лобанов принципиально новым, увы, не обрадовал. И выйдет: врачу, излечися сам!

— А ученики и их достижения разве тут не принимаются в расчет?

— Не забывайте, что учеников у профессоров Пискарева и Зеневича ничуть не меньше.

— Тогда стоит поднять опубликованные работы и сравнить по ним... качество учеников.

— Что ж, подыдем работу, скажем, некоего Кренихина Олега (был в свое время такой аспирант у Пискарева). Предположим, нам даже удастся доказать ее несостоятельность. Но Кренихин Олег Николаевич — ныне директор довольно крупного института. Кто решится доказать, что он не по заслугам преуспел?

И я озадаченно замолчал: действительно опасно, Борису Евгеньевичу легко оказаться в дураках, да и проверяющей комиссии тоже.

А ректор ровным голосом продолжал:

— А тут еще профессор Лобанов неосторожно тронул, мол, спецзаказы — чуть ли не взятки за опеку над недорослями. Эт-то скандал! Тут уже ставится под сомнение честность видных хозяйственных руководителей. Кто, кроме этих руководителей и их ближайших сотрудников, может знать, насколько необходим производству данный спецзаказ? Доказать со стороны, что спецзаказ дутый, практически, поверьте, невозможно. Зато обратное доказать легко, а уже после этого сам собой напрашивается и вывод: профессор Лобанов — злостный клеветник, а Пискарев и Зеневич — невинные жертвы.

— Выкладываете начистоту, Иван Павлович, чем я могу вам быть полезен? — спросил я. — Не думаю, чтоб вы вызвали меня просто так, для беседы.

Он встал, широкий, с выступающим животиком, с плоским сумрачным лицом.

— Одно обстоятельство вынуждает меня обратиться к вам, Павел Алексеевич. В нашем городе весьма скоро пройдет межгородская вузовская конференция по вопросу связи научного преподавания с практикой...

— Конференция?.. Но при чем тут я?

— Вы нет, а Лобанов — да. Я могу утрясти любой конфликт внутри института, даже, самый скандальный. Но

если скандальное прорвется на конференции, то я уже бессилён что-либо сделать — институт будет обесславлен, а профессор Лобанов окажется в клеветниках. И единственно, кто останется в выигрыше, — Пискарев с Зеневичем...

— Вы хотите, чтоб я остановил Лобанова?..

Ректор заглянул мне в зрачки, заговорил резко:

— Вы в институте самый близкий ему человек. Он считает вас своим лучшим учеником. И вам он, думается, тоже дорог. Поэтому сделайте то, что бессилён сделать я, — откройте глаза! Постарайтесь ради него самого убедить Бориса Евгеньевича ничего не предпринимать больше!

— А если у меня не получится? — спросил я.

— Тогда будет плохо Лобанову... Мне... И вам, Павел Алексеевич, тоже! Именно на учениках-то Лобанова и станут отыгрываться Пискарев с Зеневичем. Они же люди беспощадные, вы это хорошо знаете.

Я знал. Но как, однако, все до смешного ненадежно. Уж если такой трезвый человек, как несентиментальный Илюченко, хватается за непрочную соломинку — действуй на чувства своего учителя, любимый ученик, иного выхода не вижу! — то, значит, серьезная заваривается каша.

Нет, ректор не выжимал из меня согласия, а я, уходя, не сказал ему ни да, ни нет. Я еще не решил, стоит ли мне принимать на себя столь странную и неблагодарную обязанность: учить разумности своего учителя.

В этот день я так и не встретился с Борисом Евгеньевичем. И весь день до вечера незримо за моей спиной стоял мальчик-убийца со светлыми невинными глазами.

Вечером же к нам пришел Боря Цветик.

Мы уселись по обыкновению на кухне. На окно навалилась темнота, не видно ни городских крыш, ни дома-близнеца напротив, и тиха внизу наша улица, только с проспекта доносится шум машин. Майя гремела чашками, собиралась поить нас чаем. У нее, как всегда, губы в изломе, лицо страстотерпицы, но особой подавленности в ней не чувствуется, внимательно слушает Борю, порой даже замирает, перестает греметь чашками.

Все кругом так ненадежно — выбиты подпорки, вот-вот обрушится, загремит, останусь среди обломков. Я тихо

страдал и... наслаждался. Да, наслаждался — тайком, почти воровски — семейным вечером. Я следил со стороны за Майей, жадно ловил и запоминал каждое ее движение, ее вздернутые узкие плечи, ее тонкую талию, охваченную фартучком с вышитыми тремя пляшущими поросятами, ее будничную озабоченность под маской страстотерпицы на лице. И кипящий на плите чайник, и расставленные по местам чашки с блюдечками, и гость за столом, и беседа... Это малое житейское никем обычно не замечается, никем не ценится — привычное! Радуюсь, что оно у меня еще есть, мне больно и хорошо...

Благодушный гость и беседа... Однако беседа-то далеко не благодушная — говорим о чужой беде.

Всеведущий и вездесущий Боря Цветик, оказывается, знал убитого отца — некий Рафаил Корякин, мастер с автостанции при мотеле, широко известный любителям-автомобилистам всего города. Он недавно выправил Борису помятый «пожарный» «Москвич».

— Что за человек?.. Да обычный скот во всем, кроме рук. Руки у этой скотины были золотые, ничего не скажешь. Помятую в гармошку машину — смотреть страшно! — выправит, от новенькой не отличишь никак. После любой аварии все к нему. Кто половчей, того без очереди, а так всегда у Рафки длинный хвост. Сотни машин сквозь его руки проходили, с каждой получал в лапу, деньги мусором считал. И потому пил с размахом, осатанело. Обязательно компанию должен иметь, чтоб было во время пьянки кого загрызть. Без этого не мог. Как чуть пропустит с прицепом, так звереет. Представляю, каково жене такого оскотиневшего встречать каждый вечер. Сын, говорят, не в папу, скромный парень, ни в чем дурном не был замечен. И будто бы он несколько месяцев назад предупреждал отца: не тронь мать — убью! И любопытная, знаете ли, деталь: отец не спрятал ружье, хотя жена и упрашивала — унеси от греха. Судьбу, выходит, испытывал.

Боря Цветик рассказывал с умудренным пренебрежением. Белоснежная сорочка, неброского цвета галстук, тугие, гладко выбритые щеки — чистый человек, вынужденный ковыряться в житейских отбросах.

Я решил спросить:

— Интересно, водка его скотом сделала или, наоборот, скотская натура на водку бросила?

— А не все ли равно, — отмахнулся Борис.

— Важно знать, скотство такого Рафки врожденное или приобретенное?

— С четвертинкой во рту не рождаются, всех как-то жизнь приучает.

— Прежде считали — нужда беспросветная к водке гонит, но Рафка, похоже, не нуждался...

— Рафка зашибал больше, чем мы с тобой вместе взятые зарабатываем. Ружьецо-то, из которого убили, зауэровское, три кольца. За такое тысячу отдай.

— Жена-стерва его довела?

— Забитая баба, она слово поперек сказать боялась.

— Не скорбь же мировая — причина?

— Ха! Скорбь мировая у Рафки!

— Значит, с четвертинкой родился — наследственность! — решил я.

Боря Цветик помолчал, вызванивая ложечкой в чашке, наконец изрек:

— Просто скука. Она страшней всякой нужды и скорби.

— Как скука?.. — не понял я.

— Да так, некуда себя деть — это, брат, проклятие, от него не только к бутылке, в петлю полезешь.

Мне постоянно в жизни не хватало времени, дни безделья обычно вызывали угрызения совести — что-то всегда не окончено, ждет меня, висит грузом на шее. Даже на счастливом Валдае нет-нет да врывалось беспокойство — стороной течет время!

— Не представляется, — сказал я.

— Ой ли? — со снисходительным великодушием возразил Боря. — Рафка Корякин из той породы людей, над которыми, так сказать, довлеют два высоких чувства: утром им неохота идти на работу, а вечером домой. Неохота — его основное, если не единственное чувство в жизни. А еще, как назло, ему предоставили в неделю два выходных. Впрочем, вру, Рафка, кажется, работал пересменно — день вкалывал по двенадцать часов, день отгула... Через день полная пустота, куда себя деть? От этого, брат, вопросика застонешь. Книги Рафка не читал — не тянуло, телевизор обрыдл, «козла» забивать с пенсионерами не по характеру — натура, видишь ли, беспокойная. И выходит, что иного спасения нет, кроме водки. Шарахнешь стопку, другую, и вместо пустоты веселье, вместо ненужности приятельские объяснения: «Ты меня любишь, ты меня уважаешь?..» И страсти, брат, страсти! Конечно, многие берегутся этой заразы, но почти каждый на свой манер со скукой воюет.

— Уж так-таки каждый?..

— Исключения, конечно, случаются.

— А ты тоже воюешь?

Боря Цветик пожал пухлыми плечами.

— И я тоже. Только делаю это половчей Рафки. Не в пример ему умею себя занять: книги читаю, даже философские, историей медицины интересуюсь... Но и на меня находят времена — хоть вой.

У Бори всегда на все есть ответ — счастливый характер. А я вечно изобретаю загадки. Вот и сейчас покойный Рафка для меня загадка, а вместе с ним загадка и я сам. До сих пор я отвечал просто: не скучаю потому только, что некогда, съедает работа. Но работал и Рафка, умело, красиво, наверное, часто получал удовольствие от своей работы — машина гармошкой становится как новенькая! А так ли уж часто получал удовольствие я? Досадных огорчений в деле я имею, право, куда больше, чем радостей. И все-таки мое дело — моя страсть, до появления Майи единственная. Не потому ли, что я самолюбиво хочу доказать людям — могу сотворить им небывалое, могу их осчастливить? Чувство необходимости людям, не это ли занимало все мои силы, все мое время? Скучать? Где уж. Однако и к Рафке стояла длинная очередь, в Рафкиных золотых руках нуждались. Он тоже мог — вполне мог! — испытывать такое же чувство: необходим людям! Только есть между нами и различие. Я получаю обычную зарплату, за мое чувство мне никто ничего не приплачивает. Очередь же тянула Рафке деньги. Деньги и высокое чувство не совместимы. За твою услугу я тебе заплатил, значит, больше ничего не должен, ничем тебе не обязан, не испытываю ни благодарности, ни вообще чего-либо к тебе человеческого. Рафка «получал в лапу», то есть обдирал. А тех, кого обдираешь, уважать нельзя, скорей — презирать. Изю дня в день презрение, оно, наверное, стало привычкой. Презрение ко всем — к друзьям, к жене, к тому же сыну... И кто мог, сторонился его, остальные терпели, никто не любил. Как жить, если все кругом противники, никто не близок? Хоть на минуту да обмануть себя: «Ты меня уважаешь? Я тебя уважаю!..»

— Послушай,— сказал я Боре после молчания.— А ведь не в скуке дело — в одиночестве.

Боря не мог знать, что прокипело во мне за эту затянувшуюся паузу, он небрежно хмыкнул.

— Одиночество?.. Такие, как Рафка, всегда в куче.

— То-то и оно, что и в куче можно быть никому не пужным. Он и в семье был чужим...

— А семья вовсе не роднит. Да! Семейные-то люди чаще всего и творят чудеса. Не замечал?..

И стрельнул в меня нескромным острым взглядом. Не так-то прост этот добродушный Боря Цветик — подозревает чудеса и в нашей маленькой семье. Нескромный взгляд заставил меня с вызовом спросить:

— Не оттого ли ты с Леночкой из Комплексного не сходишься, что чудес боишься?

— Оттого, — ответил он не моргнув глазом.

— И Ленка с этим мирится?

— Ленка — умница, понимает не хуже меня, как это страшно: стать мужем и женой, торчать нос к носу изо дня в день, из года в год. Осточертеет, а спрятаться некуда. Какая уж тут любовь?

— Значит, чтоб любить, надо прятаться друг от друга?

— Держаться на расстоянии, — невозмутимо изрек Боря.

— А вот меня почему-то тянет к тому, кого люблю. Думаю, и других тоже.

— Тянет. Да. Но умей сдержаться. Вот мы с Ленкой держимся в разлуке, ждем не дождемся субботы, целую неделю живем этим ожиданием. И она наконец наступает: я являюсь к ней с цветами, она встречает меня нарядная, стол накрыт белой скатертью — праздник. Я приехал навстречу мечте, она видит вымечтанного. Ну а если бы мы сошлись, никаких светлых праздников, сплошные серые будни.

Майя сидела рядом, не участвовала в нашем разговоре, но слушала, напряженно слушала — разлившиеся зрачки, скорбяще сведенные губы. Боря Цветик, расправив полные плечи, ласково поглядывая то на нее, то на меня выпуклыми глазами, продолжая вещать сокровенное:

— Все согласны, все, что пора влюбленности — самое счастливое время жизни. Поэтами воспето, слезами сожаления омыто — неповторимо! И вот ведь поразительно: когда эта счастливая пора наступает, все торопятся ее сократить. Не успели по-настоящему повлюбляться — к свадебному столу! От поэзии — к прозе жизни, от полноты чувств — к скудости, от богатства переживаний — к однообразию. Ну не глупо ли?..

Я уже страшился глядеть в сторону Майи — именно так мы с ней и поступили: оборвали влюбленность, чтоб теснее сойтись, от поэзии — к прозе... И сейчас мы не можем похвастаться, что счастливы.

— А не кажется ли тебе, что ты превращаешь жизнь в игру? — спросил я.

Боря на минуту задумался, только на минуту, чтоб решительно согласиться:

— Может быть.

— Но так можно проиграть лучшие годы — получить удовольствие и в конце концов остаться ни с чем.

Боря Цветик не успел возразить, как раздалось:

— Т-ты!.. Т-ты ханжа, пуританин! Т-ты!.. Ты всегда все сводишь к голому утилитаризму!..

Майя, до сих пор слушавшая молча, с напряженным вниманием, взорвалась.

Лицо ее было бледным и болезненно перекошенным, дышащие зрачки, голос дрожащий, захлебывающийся:

— Люди всегда, всегда стремились скрасить постылую жизнь игрой. Да! Да! Пели, танцевали, мистерии устраивали... Во время Олимпийских игр древние греки бросали самые неотложные дела, даже войны прекращали!.. Да укради у людей игру — от тоски, как мухи от холода, вымрут! Но всегда найдутся Савонаролы, которые запретят — не играй, не смей наслаждаться красотой! — заставят художников сжигать свои картины...

Боря Цветик, растерянный и, как я, оглушенный, попытался было остановить Майю:

— Да чего ты, право... Так сразу и всерьез!..

Но Майя и не слышала его, направив на меня свое пугающее асимметричное лицо, кричала. И на шее у нее натягивались сухожилия, и на лбу зацвели красные пятна.

— Нет несносней на свете тех, кто всегда поступает с расчетом, живет всерьез!.. Они так высушат вокруг себя, что любой росточек на корню вянет!.. Ты-ы! Ты-ы!.. Кого ты сделал счастливым?! Сам-то, сам-то счастлив?.. Я рядом с тобой счастлива?.. Не-ет! Не-ет!.. Дышать трудно возле тебя, скуш-но-о! Скуш-но-о! Пропадаю!..

Майя сорвалась, кинулась из кухни в комнату. Слышно было, как там с грохотом упал сбитый стул.

Боря Цветик поспешно скрылся от чужой беды. Я толкался в кухне, в коридоре, зачем-то зашел в ванную комнату, зеркало отразило мою подавленную физиономию, широкую, с крутыми тесаными скулами, настолько грубо

плотскую, что только зыбкая тень страдания отражалась на ней. Каменная рожа, из такой слезы не выжмешь, противен сам себе.

Наконец я осторожно прошел в комнату. Майя лежала на тахте лицом к стене.

Семейные сцены — тривиальнейшее явление.

Семейные сцены — многоактные трагедии, которые старательно прячутся от стороннего зрителя.

Никто не воспринимает их всерьез: перемелется — мука будет.

Но навряд ли мировые катаклизмы и социальные несправедливости вызывали столько приступов отчаяния, ненависти, ярости, сколько их прорывается ежедневно и вездесуще в семейных сценах.

Если я молод и здоров, то изнурительный труд, нужда, даже фатальные неудачи, право, так не страшны для меня, как несовместимость с тем, с кем мне суждено жить бок о бок. Несовместимы — значит, на радость ответят мне негодованием, на гордость — презрением, на порыв откровенности — замкнутостью.

Семейные сцены — жуткие схватки во имя самоутверждения, неизбежно приносящие только самораспад! Локальные баталии, заполняющие мир калеками, духовными и физическими, неизлечимыми психопатами и безнравственными эгоистами, патологическими мизантропами и безнадежными инфарктниками.

Семейные сцены — эпидемическое заболевание, свирепствующее в человечестве.

Я стоял над Майей, она не шевелилась — спутанные волосы, трогательно тонкая белая шея, согнутая спина, поджатые ноги, даже тапочки не скинула. Я стоял затаив дыхание, и паркет поскрипывал под моими ногами. Спinoй ко мне, чувствуя, что я рядом...

Затеняющаяся луна над Настиным омутом... Розовый океан над праздничным городом... Валдайская робинзонада — ночи с кострами. Минуты в Тригорском на онегинской скамье: «Оракулы веков, здесь вопрошаю вас...» И все это, величественное, незабываемое, кончается — лицом к стене, спиной ко мне!

Я стою за ее спиной, я, раздавленный, униженный, кающийся, боюсь издать вздох, лишь паркет скрипит под моими ногами. Она слышит — я здесь! — она не оборачивается...

Я постоял и отошел. Но деваться мне некуда. На кухне неприбранный стол, на ручке двери висит ее фартучек с

апликацией — три розовых пляшущих поросенка. А в коридоре у входных дверей под порогом стоят рядом мои тяжелые тупоносые туфли и ее легкие ботики. Мы уже далеко друг от друга, а вещи все еще хранят нашу близость.

...Когда меня снова занесло в комнату, она уже не лежала, а сидела на тахте — бескостно согнутая, с обвалившимися плечиками, взлохмаченная, бледная, устало глядящая перед собой. Я навис над нею, громоздкий, раскayанный, ждущий.

— Павел... — выдавила она из себя тускло. — Нам надо побыть... по отдельности... Хотя бы сутки-другие...

Я молчал. Я мог произнести лишь бессмысленно пустой вопрос: «Зачем?» Она продолжала трудно, через силу, уставшим голосом:

— Сейчас я... к родителям... Так надо! Я им скажу, что ты... ты срочно уехал в командировку... На три дня.

Я молчал. Совершалось бегство от меня, от нашего прошлого. Я понимал, сейчас, вот сейчас лопнет соединявшая нас струна, и возможно ли будет снова связать ее?

Я молчал, остановить Майю не в моей власти. Пол скрипел под моими ногами. Она, должно быть, чувствовала мольбу в моем взгляде, а потому старательно смотрела в сторону, говорила насильственным голосом:

— Всего на три дня... Я хочу сделать себе каникулы. Павел... Да... от семейной жизни... Да... устала!..

Под дверью у выхода остались в одиночестве мои тупоносые туфли.

Человечество делится попарно — Он и Она! — так живет и только так может поддерживать жизнь, создавая себе подобных. Он и Она — самая важная связь, прочность которой гарантирует неумиранье. У меня эта связь — вот-вот на пределе... Вот-вот... Если уже не лопнула.

Утром я привычно шагал в институт.

Утром?.. Нет, ненастная ночь провожала людей на работу. И лишь когда большинство примутся за свои дела, над городом забрезжит скудный рассвет, но его уже никто не станет считать утром — день давно начат. В это глухое время года у нас утра не бывает.

И пустой дом у меня за спиной. И впереди институт, который никак не может помочь мне.

Неожиданно я вспомнил слова Бори Цветика о покойном Рафке: из той породы людей — утром им неохота идти на работу, вечером домой. Я вспомнил и содрогнулся от ужаса, представил себя в этой роли — ни там, ни тут, велика планета, а мне нет на ней места!

До сих пор я не замечал, что вокруг существуют изгнанники — топчут землю и чувствуют себя на ней лишними, не знают, куда пристроиться, не ведают, зачем живут. Им даже некого винить, их, собственно, никто не гонит, сами не в силах приспособиться к миру, всюду неуютно, всюду постыло. Винить некого, но это не мешает ненавидеть — всех! За то, что все счастливее неприкаянного.

Темное утро поздней осени. Ненастный город, я в нем...

Я почувствовал ужас, и он отрезвил меня.

Мне нет места на земле?.. Как я, однако, раскис, как опустился! Меня сейчас ждут в институте — нужен! Ждет работа, которой я уже отдал кусок жизни, надеюсь отдать всю жизнь целиком. Только бездеятельный может чувствовать себя лишним, я же бездельником не был и не буду! Неохота идти на работу?.. Ой нет, мне не грозит...

Не грозит?.. Эй-эй! Только ли ты сам распоряжаешься своей судьбой? Разве не может случиться всякое? Ты застрахован от козней недоброжелателей?.. Даже люди, преданные тебе, любящие тебя, сами того не желая, могут легко подвести... Борис Евгеньевич сейчас ринулся напролом, грудью на непосильные завалы — сорвется, разобьется, будет затоптан. До сих пор он тебя надежно прикрывал, ты уютно жил за его широкой спиной. Теперь окажешься открыт, незащищен — нападут, сомнут, выбросят на сторону! Как просто стать неприкаемым.

Меня попросили поговорить с Борисом Евгеньевичем, я пока этого не сделал, сомневался, нужно ли...

Дома пусто. Он и Она — вот-вот, натянуто до предела! Родной дом — не спасение. Как никогда, я сейчас нуждаюсь в убежище. Я должен встретиться с Борисом Евгеньевичем, убедить его...

Комната кафедры прикладной химии в старом корпусе на втором этаже. Два окна, разделенные узким простенком, упирались в разросшийся во дворе тополь. Летом от его густой кроны здесь всегда было сумеречно и суетливая птичья мелочь нагло кричала в распахнутые фор-

точки. Сейчас к оконному стеклу тянулись старчески узловатые почерневшие от дождя ветки, мокрые лохмотья уцелевших листьев висели на них. И похоронно тихо в стенах.

Я ожидал увидеть Бориса Евгеньевича омраченным, с печатью усталости и страдания на челе. У него же был до обидного благополучный вид: торжественно сияющая лысина, привычная кроткая голубизна глаз и некая сосредоточенная важность в морщинах, важность уважающего себя человека.

Все, что мне говорил ректор, я добросовестно изложил, не упустил ничего, беспристрастно обрисовал неизбежные последствия: торжество Пискарева и Зеневича вместо их поражения, неприглядное положение самого Бориса Евгеньевича. Он внимательно меня выслушал и равнодушно обронил:

— Что ж... Скорей всего так и получится.

А я-то ждал резких, до негодования возражений, мол, не так-то легко меня опрокинуть. Спокойно соглашается — будет бит, — словно речь идет об очередном эксперименте, на желаемый результат которого рассчитывать не приходится.

— Получится-то некрасиво — вас выкупают в вонючих помоях! — возмутился я.

Он усмехнулся.

— А вы думали, что я жду оваций и триумфа?

— Тогда мне и совсем непонятно. Странное стремление — быть выкупанным в нечистотах.

— Оно обещает очищение от скверны, мой мальчик.

— Каким же образом?

— Меня могут втоптать в грязь, но не мое слово. Как только снова Пискарев с Зеневичем примутся за прежнее — а они иначе не смогут существовать! — так все вспомнят, что было о них сказано. Мое слово будет висеть над ними дамокловым мечом. А ради этого стоит рисковать.

— Собой?..

— Разве я кого-то другого подставляю вместо себя?

— Да. Только не вместо, а вместе с собой.

Борис Евгеньевич искоса внимательно-внимательно оглядел меня своим голубым взором.

— Вы боитесь за себя, мой мальчик?

— Боюсь, Борис Евгеньевич! И за себя, и за всех сотрудников лаборатории. Нам не дадут ни жить, ни работать. И вы это знаете!

— Знаю, что у вас могут быть неприятности. Знаю, что вы, Павел, достаточно крепкий человек, чтоб мужественно их перенести. Знаю, наконец, что все дело времени — убить навсегда ни вас, ни меня пискаревы не способны.

На минуту я подавленно замолчал. Не мог же я открыться Борису Евгеньевичу, что именно сейчас меня легко можно если не убить, то навсегда изуродовать: лиши последнего убежища, оторви от тех, с кем еще связан, останусь совсем один, без места на земле. Дело времени... А время-то смыкается над моей головой!

— Много ли изменили мир подвижники?.. Это ваши слова! — напомнил я.

Он не сразу, задумчиво ответил:

— Кто знает, что стало бы с нашим миром, если б возмущенные молчали?

— Недавно я видел мальчишку-отцеубийцу... Вы, наверное, слышали о нем...

— Слышал... Какое отношение имеет к нам этот случай?

— Пример жертвенности, Борис Евгеньевич. Мальчишка решил очистить от скверны семью. И что?.. Сделал еще сквернее. Мать, столько терпевшая от пьяницы мужа, теперь неизлечимо травмирована на всю жизнь, сам мальчишка попадет в колонию для малолетних преступников, кто знает, каким он оттуда выйдет.

— Вы хотите сказать, никакой жертвенностью людей умнее и чище не сделаешь?

— Вот именно!

— Что-то вы стали дурно думать о людях, мой мальчик.

— Дурно?.. Нет! Я лишь просто перестал верить себя, что готов умереть от любви к ним.

— Вот как! А можно ли жить среди людей, не любя их?

— Лучше спросите, можно ли вообще любить людей. Людей! Некую массу! В нашем городе пятьсот тысяч жителей, и если я вам скажу, что люблю их, то это будет несусветная ложь. Невозможно любить такое количество. А тем более четыре миллиарда на планете. Кто кричит о столь масштабной любви, тот сверхсамовлюбленный идиот, считающий, что ему все по плечу, даже объять необъятное.

У Бориса Евгеньевича сразу осунулось лицо, запали глаза, стали жесткими морщины. Он долго разглядывал

меня исподлобья, наконец заговорил, и голос его был чужой, черствый:

— Логически вы, пожалуй, и правы. Да, нельзя объять необъятное. Но столь убийственно трезвая логика может прийти в голову или уставшему от жизни человеку, или... или бездушному! А так как вам еще не исполнилось и тридцати, то устать от жизни вы вряд ли могли. Как ни прискорбно, я должен сделать для себя вывод...

Впервые за все многолетнее наше знакомство я услышал от Бориса Евгеньевича столь жестокое по своему адресу. И от отчаяния с вызовом и раздражением я заговорил:

— Жаль, что вы сами не заметили, приходится уверять: эта трезвая логика мне нелегко далась, прежде я переболел, и сильно!..

— За кого? За самого себя или за других?

— Да можно ли болеть за себя одного, всегда же с кем-то связан в один узел!

— Можно! — отчеканил Борис Евгеньевич — И вы это делаете сейчас. Не мой будущий позор вас тревожит, не судьба товарищей по работе — вы сами, ваше личное спокойствие, ваше благополучие!

— Борис Евгеньевич!..

— Да, я, Борис Евгеньевич Лобанов, бывший ваш учитель, начинаю подозревать вас в своекорыстной расщепленности. Прошу прощения, но вы сами дали мне повод к этому.

Он решительно поднялся...

Только когда оказался в коридоре, я понял, что стряслось: вот теперь-то, похоже, я останусь уже совсем один! До сих пор при всех несчастьях я мог рассчитывать — с ним не порвется, с моим духовным отцом. Порвалось раньше, чем с другими... Неисповедимы пути твои, господи! И непостижимо твое коварство!

Лодка в море... 14

Все перемешалось у меня, все сдвинулось, стало шатким и зыбким: родной дом страшен — беги и прячься, институт ненадежен, а человек, которого я смел называть высоким словом Учитель, с презрением отвернулся от меня. За каких-то два дня потеряно все, чего я добивался в течение жизни. Завтра утром я без охоты, насилуя себя, потащусь в лабораторию, корчась от мысли, что наш с

Борисом Евгеньевичем разлад уже известен моим товарищам. И все станут притворяться передо мной — ничего не знают, а я перед всеми — ничего не случилось.

Но до утра надо как-то еще дожить. Даже это проблема: куда спрятать себя на вечер?..

Я закатился по старой памяти в городскую библиотеку.

Когда-то я любил поплавать там в читальном зале «без руля и без ветрил», отдаваясь побочному ветерку любопытства, набирая всякую всячину. Полутьма под высоким потолком, отрешенно склоненные головы, тишина, нарушаемая шелестом страниц. Я нырял в книги, не ведая наперед, к какой гавани меня прибьет.

Все перемешалось у меня, все шатко, а потому хотелось сейчас окунуться во что-то надежное, незыблемое. Где найдешь эту незыблемость? Нынче мы даже свою планету не считаем надежной — тесна, загрязняется, грозит переменой климата, термоядерная взрывчатка прячется в ее хранилищах. Остается одно — вселенная, она тоже меняется, но для меня, микроскопически малого, ее величавые перемены равносильны покою.

Журнал, который я положил перед собой на столик, не обещал легкого чтения. Тем лучше, заставит меня забыть обо всем.

Он заставил забыть меня даже самого себя... Я ждал покоя и гармонии, а со страниц, испещренных формулами, на меня двинулись кошмары, какие не могут явиться и в бреду. Что там Иероним Босх!

Статья излагала теорию академика Маркова. Не мальчишка-прожектор, не свихнувшийся маньяк, известный физик-ядерщик из Дубны, опираясь на работы Эйнштейна, Фридмана, на новейшие достижения и своей науки, и астрономии, доказывал: необозримая вселенная, включающая в себя миллиарды галактик, а значит, несчетные триллионы солнц и таких скромных миров, как наша Земля, в своем расширении для стороннего наблюдателя должна сжиматься... до размеров элементарной частицы, то есть до ничего, практически до нуля! И такими сторонними наблюдателями по отношению к другим вселенным, о существовании которых мы пока и не подозреваем, можем быть мы с вами. В чашке чая, стоящей на нашем столе, могут оказаться тысячи, миллионы таких частиц — фридмонами назвал их Марков. В чашке чая — вселенные со звездными галактиками, с планетами, с иными цивилизациями, с существами, подобными нам, радующимися и страдающими, и стремящимися все познать! И возмож-

но, наша вселенная вместе с нами затерянно болтается в чьей-то чужой чашке чая. Бесконечно великая матрешка прячется в матрешке запредельно малой. Только свихнувшийся разум может согласиться на такую химеру.

Величественное не способно быть суетным?.. А величественного-то и нет вовсе, оно равнозначно ничтожному. Дикое тождество несовместимостей — Всего и Ничего, Бесконечности и Нуля! Природа — немыслимый оборотень! Воистину: «Нет правды на земле, но нет ее и выше!..»

Я брел домой по темному городу, придавленному беспросветно темным небом. Я пытался себя успокоить...

Химера?.. Да. Но скорей всего она лишь доказывает, что торжествующая физика зашла сейчас в тупик. Не так ли было и на исходе прошлого века: озадаченным физикам, чтоб связать концы с концами, потребовался тогда заполняющий мироздание эфир, нечто неуловимо легчайшее и в то же время обладающее упругостью стали. «Стальной» эфир развеялся, а сама физика перевернулась.

Я искал оправдание химеричности человеческого разума, прибегая все к тем же разумным усилиям. А чем еще я мог воспользоваться, чтоб не сойти с ума?

Был этот мир глубокой тьмой окутан.

Да будет свет. И вот явился Ньютон.

Но сатана недолго ждал реванша.

Пришел Эйнштейн, и стало все как раньше.

Сатана издевается: грядет новый переворот в науке, что-то вдруг обгонит луч света, и прошлое, того гляди, перемешается с будущим, и трехмерное уютное пространство станет запутанно многомерным, и незыблемые законы естества с грохотом обрушатся, а природа-оборотень скорчит насмешливую гримасу...

Куда едешь ты, таинственный всадник, и кто тебя посадил на коня? Человек, несущийся в неведомое!

Глава пятая

ПОТЕМКИ

1

На исходе третьего дня Майя позвонила в лабораторию. В ее голосе были непривычные заискивающие интонации:

— Павел, папу вызвали в Москву, мама одна. Я бы не хотела, Павел, сейчас оставлять ее. Я сказала ей, что ты задерживаешься еще на три дня.

Заискивающие интонации, неискренние интонации — она лгала матери, лгала сейчас и мне. Но я был благодарен ей за то, что слышу сейчас ее голос, за то, что через три дня обещает вернуться. Я-то готовил уже себя ко всякому. Три дня как-нибудь...

Эти трое суток я — с утра до вечера, ночами перед сном — думал, думал до изнеможения.

Еще, оказывается, не разрыв, всего-навсего «каникулы», как она сама назвала. И не такие уж, в общем-то, и длительные.

Но возвращаться ей явно не хочется, попросила отсрочки, решила на ночь!

В самом деле, что ей торопиться, знает: снова ее ждет молчание по вечерам, та же скука, от которой сбежала, тот же «педобожий дом казенный», мое бессилие чем-либо помочь ей.

Ну, а чем она занимается там, в стороне от меня?..

Чем-то более интересным, если продлила свои «каникулы»?

Чем?..

И позвонила всего один раз, по крайней нужде... Мне звонить не дозволяется, я в «командировке».

Больше звонка не было. К счастью! Я боялся, придумает еще что-нибудь, лишь бы оттянуть возвращение.

И вот он, выжданный вечер.

Стучит ленивый дождь за окном, слышно глухое шевеление заполненного людьми большого дома. Я пораньше пришел с работы, подвязался Майиным фартучком с тремя поросятами, стал прибираться запущенную квартиру: пылесосил, чистил ванну до блеска, прошелся тряпкой по кухне... И вот сел, прислушиваясь к каждому звуку, доносящемуся с лестничной площадки. Стучал дождь за окном, пробивались сквозь стены звуки чужой жизни — где-то плакал ребенок, этажом ниже хлопнула дверь, бормотал у соседей телевизор.

Нет, я не успел отчаяться. Чудо, которого, изнемогая, ждал, произошло: за дверью послышались шаги, знакомая мне летящая легкость! Меня подкинуло, рванулся к выходу, замер с ухающим в груди сердцем.

Сосредоточенное шевеление по ту сторону двери, щелкнул замок, и... она вошла. В окропленном дождем берете

на густых волосах, с мокрыми свежими щеками — и знакомая кривизна губ. Она!.. Как и мечталось!

В темных глазах метнулось тревожное, секунду стояла, потерянно уставившись, и вдруг сморщилась беспомощной, виноватой улыбкой.

— Ка-кой ты потешный!..

Я цепенел, боялся пошевелиться — исчезнет, и жуткое одиночество снова сомкнется надо мной.

— Не снимай, тебе идет...

Только тут я вспомнил — фартучек с веселыми поросятами на моих чреслах. Действительно потешно — эдакий мрачный верзила с помертвевшей вытянутой физиономией и три розовых пляшущих поросенка.

— Май-ка-а...

От моего голоса она сразу стала серьезна.

— Ну, как ты тут, — отстраненно и деловито.

Как?.. Легко спросить, невозможно ответить.

Она выскользнула из плаща, осталась в гладком обтягивающем свитере — тонкая, гибкая, с мокрыми щеками, настороженно блестящими влажными глазами.

От кофе она отказалась:

— Нет, нет, не хочу.

Из путаницы волос — розовое маленькое ухо и белая падающая шея, теплоту ее чувствую на расстоянии. Шея тонет в воротнике свитера, потайно разливается в плечи и грудь. Под свитером беспокойно и скрытно живет ее тело — неужели смел когда-то его касаться?! Из рукавов свитера вырываются руки, до прозрачности бледные, хрупкие, беспокойные. Они поминутно одергивают короткую юбку, стараясь прикрыть вызывающе твердые колени.

Неожиданно я почувствовал монолитный покой. Она рядом, значит, мир стоит, как стоял!

Я робко положил руку на ее плечо.

— Май-ка-а...

Она неловко поежилась, моя рука упала.

— Поговорим, Павел...

Рядом — да, но не вместе со мной.

Убегая от меня взглядом, она заговорила с неискренним оживлением:

— Ты знаешь, кого я за это время встретила?... Гошу Чугунова! Такой же тощий, и бороденка — словно посуду чистили...

Что-то странное в ее голосе, и слишком подозрителен ее воровато-увеливающий взгляд, и жаркий, пунцовый

румянец на скуле, и набежавшая морщинка на чистом лбу. И Гоша Чугунов вдруг, ни с того ни с сего, он, забытый, словно выеденная давным-давно консервная банка. Столько пережито, так кровоточит сейчас, не глупо ли занимать себя посторонним, ненужным?

— Ты сказала, поговорим... Давай.

— Я и говорю, вот Гошу встретила...

— Да разве это так важно, Майка? Гошу, господи!.. Только это ты и принесла ко мне?

Она гневно вспыхнула, смутилась — склоненный лоб, упавшая прядь, напряженная морщинка между бровями, пятна на скулах. Страшное смущение — с неприязнью.

Глухим и вызывающим голосом она попросила в пол:

— Тогда скажи о своем... важном.

О своем?.. Я растерялся. О том, что от меня отвернулся Борис Евгеньевич? О том, что в институте назревает большой скандал? Или, может, о том вселенски химерическом, что вычитал я в библиотеке?.. Что бы ни сказал я сейчас, все покажется так же несущественно посторонним Майе, как мне ее сообщение о состоянии Гошиной борденки — «посуду чистили»...

Я не успел ничего сказать, она подняла на меня свои потерявшие блеск глаза.

Вопрос придушенным шепотом:

— Почему ты презираешь его?.

— Ты о Гоше?

— Да! Скажи мне о нем все, что думаешь. Пусть самое неприятное — дурной, порченный, фальшивый, подлый! И докажи. Мне очень это нужно. Я поверю... Я очень хочу тебе верить, Павел!

Шевельнулась догадка, но она была столь нелепа, столь чудовищно курьезна и оскорбительна для Майи, что заставить себя поверить в нее невозможно.

— В чем дело, Майка?

— Спаси, Павел!

— Тебя?..

— И себя тоже.

— От чего?

— От кого, Павел...

Нелепое росло, становилось явью.

— Спасти от... — я не мог произнести его имя.

— Да! Да!.. Я тебе сейчас наврала. Из трусости... Я по случайю его встретила. Нет! Сама нашла.

— Зачем?

Глушеший вопрос, но в шоке умными не бывают.

— Затем, что давно уже думала о нем...

Гримаса искажила ее лицо, она поспешно отвернулась, согнутая спина ее вздрогнула, раздался сдавленный всхлип.

— Я боюсь... Бо-юсь!.. И его, и себя... Скажи, Павел... скажи все, заставь меня поверить... Хочу же! Хо-чу!..

А я молчал, было пусто, пусто в голове, весь я пуст — ни боли, ни даже удивления, одно лишь тупое недоумение: не может того быть, не может!..

Она плакала, я бесчувственно смотрел на нее.

2

Даже в самые счастливые наши дни на меня иногда находило беспокойное сомнение, достоин ли я Майи. В последнее время это сомнение преследовало меня вспышками потаенного ужаса: она ошиблась во мне, жди, появится тот, кто на меня не похож, лучше, чище, значительней! И я давил эти вспышки в себе, старался не думать о нем, о достойном.

Гоша Чугунов! Вот те раз!..

И оскорбление — на кого она?! — и облегчение, почти надежда: не такой уж, право, опасный противник, я-то думал...

Я выходил из столбняка, а Майя продолжала тихо плакать.

— Это не страшно, Майка, — произнес я наконец.

Она вздрогнула и дико на меня поглядела сквозь непролившиеся слезы.

— Это скорей смешно, Майка...

Она вся подобралась.

— Гоша в роли влюбленного... Комично, Майка, не серьезно.

Ее лицо в этот момент было столь мучительно напряжено — в каждой черточке судорожная натянутость, — что казалось, держит в руке раскаленный кусок металла. Держит и терпит.

— Нет, Павел, серьезно, — проговорила она вздрагивающим голосом, — ты сам видел, с какой жадностью к нему тянутся люди. К нему тянутся, к тебе — нет! Значит, у него есть то, чем ты обделен. Случилось! И не обманывай себя, что это так... пустячок.

На меня вдруг свалилась страшная усталость. Случилось — она нашла. Нет таких слов, которые свершившее-

ся превращали бы в незавершенное, для этого надо повернуть время вспять.

— Не знаю,— сказал я с трудом,— что произойдет раньше — ты ли разочаруешься в призраке или призрак улетучится от тебя. Знаю только, это случится. Неизбежно!

И она дернулась на меня всем телом.

— Павел! Пообещай!.. Пообещай мне что-то красивое! Даже обмани! И я пойду за тобой!

— Могу тебе пообещать только одно... И без обмана, Майка... Когда ты будешь брошена и несчастна, первым возле тебя окажусь я. Приму любую и не только звуком или намеком не напому об ошибке, нет, а буду всегда благодарен... Да, тебе! Да, за то, что ты рядом! Обещаю!

Ее лицо обмякло и побледнело, глаза округлились и опять заблестели влагой.

— Ты, конечно, этому не веришь? — спросил я. — Станный же ты человек: в обман готова верить, а правде — нет.

Долго, долго она молчала, отвела глаза, с судорожным всхлипом выдохнула:

— В-верю... Спасибо, Павел.

Кажется, я победил в этом неравном поединке, заставил ее поверить себе, но что мне это может дать: свершилось, время еще никто никогда не поворачивал вспять.

Она снова тихо плакала, не осмеливалась уйти, все еще чего-то ждала. Опущенные плечи, оброненные руки, перепутанные густые волосы, плавная линия шеи, крепкие колени — бессильная. Обними сейчас ее — не оттолкнет.

А потом... потом почувствует отвращение и к себе, и ко мне. Хорошая же память — «на прощай». Да и не хочу я подачки на обездоленность!

Стучал в окно ленивый дождь... В глубине груди, за ребрами, лежало что-то лишнее, массивное, давило вниз — каменная булыга, боязно дышать. И дурацкий фартучек висит на мне — три пляшущих поросенка.

У Гоши Чугунова два достоинства: он неприкаян, он свят. Неприкаянность и святость издавна иступленно почитались на Руси. К слову убогих святителей прислушивались порой сильнее, чем к слову всесильных само-

держцев. Самый знаменитый храм Москвы стоит в честь юродивого нищего — Василия Блаженного.

Как и прежде, среди людей много таких, кому неудобно в мире сем, готовы от него спастись в мире воображаемом. Как и прежде, блаженные, не от мира сего, современного обличья, но неизменной святости, предлагают способы самоспасения. Майе неудобно, а неприкаянный спаситель может заполнить всю ее жизнь, всю, без остатка! Мне с моей приземленной трезвостью не останется в ней места.

Майка! Я отравлен тобой!

Майка! Отказаться от тебя, забыть тебя свыше всех моих сил!

Ты и в самом деле единственная! В людском половодье, что обмывает меня, другой такой нет и быть не может!

Не проживу без тебя — возненавижу людей, сойду с ума!

Уж лучше бы мне не встречаться с тобой, Майка!

Будь проклят тот день, когда я впервые тебя увидел!..

Я с содроганием вспоминал случай у загса, когда вдруг появился пророк-доброволец — небритая рожа, голос с апокалипсической страстью: «Леб-бе-ди-и бел-лья! Касаточки!.. Братья женихи! Разбегайтесь!» Один из женихов внял ему. «Сенечка! Подлец! Прохвост!! Сволочь!!» Сенечка спас себя... И Майя тогда была в белом до пят платье, на ее густых волосах висела прозрачная фата, смятенное лицо, жметя к матери... Лебедь белая...

Сжигающие мысли наедине с собой!

Я протягивал руку, чтоб выключить лампочку над головой и вспоминал — кнопки выключателя касалась ее рука! Я садился утром в кухне за стол, чтоб выпить чашку чаю, и нереально счастливое время наваливалось на меня — не столь давно она сидела напротив! На ночь я задергивал окно, и меня от затылка до пят пронзало: «Задерни шторы!» — ее далеким голосом из далекого вечера, когда она принесла коврик на пол и наша комната обрела незримую гармонию. Рядом с ней вечность!.. Не могу! Невыносимо! Сжался!..

Надо мной сжалился Боря Цветик. Он не появлялся с того памятного скандала, сейчас явился — неизменно свеж и взгляд светлых навывкате глаз немигающе прям.

— Пойдем, брат, выпьем, завьем горе веревочкой.

Я поинтересовался:

— У тебя-то какое горе?

— А у меня и нет,— ответ с обезоруживающей простотой.

Я готов был уже за ним следовать в ресторан, чтобы завить горе веревочкой... Но тут Боря переусердствовал:

— Такси ждет. Машину-то дома оставил, чтоб, поддавши, не напороться на гаишника.

Ан нет, не порыв души, Боря расчетливо готовился к визиту. Уж коль есть расчетливость, то должен быть и мотив расчета. И я сразу же разгадал его — любитель городских новостей, он явился ко мне, чтоб получить свеженькие подробности из первых рук. С тем же простецким добродушием, с каким сейчас глядит на меня, он завтра в другом доме объявит: видел его... И уж подробно опишет мое состояние, уж припомнит мои слова, когда стану «завивать горе веревочкой». И в ближайшую субботу он вместе с неизменными цветами повезет щекочущие новости Леночке из Комплексного. Они, предусмотрительно играющие много лет в любовь, будут разбирать по косточкам мою с Майей любовь — непредусмотрительную. Мне вовсе не обязательно доставлять им такое удовольствие.

— Тебя по-прежнему заедает скука? — спросил я.

— А что?.. — Мой голос насторожил его.

— Да то... Сдается мне, моя беда — для тебя лекарство от скуки. Иди, брат, поскучай, а меня уж не трогай.

И Боря Цветик ушел с оскорбленным достоинством. Все-таки кое-что он унес в клюве — моя пелюдиность может быть подана с надлежащими приправами.

Но тут же я пожалел, что выпроводил его. Мертвая тишина окружала меня. И с улицы доносился шум машины, и у соседей бормотал неумолкающий телевизор, но все эти звуки были для меня потусторонними — они в ином мире, в ином измерении. Вплотную — тишина, воистину гробовая.

Говорят, в средние века прокаженный обязан был звонить в колокольчик: берегитесь, люди, моей заразы! Сам себе создавал вакуум. Беззвучный колокольчик прокаженного звонил надо мной в обступившей тишине.

4

«Кому повем печаль мою?..»

Некому!

Нет такого на всем белом свете, чтоб выплакать свое.

Любой из моих институтских приятелей будет лишь ошарашен и сконфужен, если я решусь открыться. Да и не примет он всерьез моих печалей, непременно подумает про себя: «Э-э, перемелется...» Представить только ту же Галину Скородину в роли исцелительницы!

«Кому повем?..»

И вдруг я вспомнил — есть человек, который выслушает...

«Ты можешь недоумевать,— писал я,— можешь пренебрежительно отмахнуться, можешь и оскорбиться: ни разу не интересовался, как ты там, прижилась ли, что нашла и что потеряла, счастлива или несчастна, вообще жива ли? Вместо этого получи вопль, да еще надсадно звериный. Но уже одно то, что воплю к тебе, далекой-далекой, как-то должно оправдать меня в твоих глазах — нету никого. Ни рядом, ни в стороне, всюду пустыня! Ты, далекая, оказывается, одна на белом свете, кому могу сказать все. Ты, забытая мною, успевшая наверняка забыть меня, скорей сейчас воображение, чем человек во плоти,— единственная ниточка, которая связывает меня с теми, кого мы называем невразумительным словом «другие». Другие люди — их много вокруг, их нет для меня.

С тех пор как мы расстались, я пережил счастье... Посторонним оно может показаться обычным, для меня — головокружительное. Я любил и не верил, что полюбят меня. Полюбили! И я тогда самонадеянно уверовал в свою неповторимую исключительность. Я, не колеблясь, шел навстречу тому, что желал, и получал даже больше, чем смел помыслить. И в моем деле, тебе известном, исполнилось некое чаянье, которое можно назвать если не успехом, то многообещающей удачей. И самомнение счастливица, и самоуверенность победителя... От высоты и паденье, по грехам и заслуги.

Не сразу, исподволь началась цепная реакция...»

Все скопленное за последнее время прорвалось, и я уже не волен был остановить поток. С дотошной подробностью, с назойливой искренностью, пренебрегающей условностями и приличиями, я писал Зульфии о развале еще не успевшей сложиться семьи, о разрыве с Борисом Евгеньевичем, о моей нынешней шаткости в институте, о той прокаженности, которую я сейчас испытываю. Потерянный — потерянной, вопль души!

«...Признайся,— закапчивал я письмо,— тебе в голову сейчас пришел досадный вопрос: а зачем, собственно, он на меня такое обрушил, чего от меня ждет, на что рассчитывает, чем можно тут помочь?.. Ничем! Ни даже советом! Я просто благодарен за то только, что ты есть в мире. Значит, мир не совсем еще глух, есть надежда — меня услышат. А большего подарить мне сейчас никто не в состоянии. И, как знать, вынес бы я вселенское безразличие к себе, не ухватись теперь за тебя. Без такой отдушины в атмосфере отчаяния, должно быть, и созревают самоубийцы. Один факт, что ты есть, уже спасение. И если еще ты отзовешься, докажешь мне, что плач мой услышан, я, пожалуй, буду даже счастлив. И копейная свеча в моей крошечности теперь — зарево.

Хватающийся за соломинку *Павел Крохалев.*

Р. С. Твоего Иеронима Босха я храню, но только как память. Я обманул тебя, что люблю этого художника. Нет, он пугал и пугает меня. Его любила моя жена...

П. К.».

Адрес Зульфии я знал приблизительно, написал на институт, куда она определилась. Но не перелетела ли она дальше? Навряд ли, срок еще не вышел.

Я выскочил ночью на улицу к почтовому ящику. Он с железным лязгом проглотил мое письмо. И обычная в этих случаях рефлексия — я сразу же пожалел, что послал свой сумбурный вопль. «Что мне Гекуба и что я Гекубе?»

5

В институте ощущался утробный вулканизм — слегка потряхивало, слегка чадило, пахло серой. Никто ничего решительно не предпринимал. Виновник событий Борис Евгеньевич Лобанов читал свои лекции, ходил по коридорам с высоко поднятой головой. Я видел теперь его только со стороны.

Но близилась межгородская вузовская конференция, наш вулкан мог взорваться прямо на ней, и тогда запах серы разнесется далеко за пределы института, даже города, привлечет к нам внимание.

Появилось объявление: состоится собрание профессорско-преподавательского состава. Начал действовать ректор Илюченко, и намерения его ни для кого не были

секретом — взорвать вулкан до конференции, пусть он извергнется в стенах института, пока не поздно!

Накануне собрания ко мне подошел один из диссертантов Зеневича, Лев Рыжов.

Высокий, голубоглазый, буйно блондинистый, с мужественно твердым подбородком и нежным, девичьим, кисленько-капризным ртом, он был институтской знаменитостью — прима баскетбольной команды, а наши баскетболисты — гордость города, постоянно завоевывают призы и кубки на межобластных соревнованиях. Но Лев Рыжов не из тех бесхитростных парней, кто исключительно через спорт прокладывает себе путь к успеху, не откажешь ему в настойчивости и трудолюбию: каких-нибудь полтора года назад он защитил диплом, а теперь уже толкает готовую диссертацию, имеет печатные работы, член разных комитетов, руководит научным студенческим обществом, бывает в высоких кабинетах города, его фамилия называется одной из первых, когда кто-то должен представить лицо института. Злые языки утверждают, что профессор Зеневич уже сильно побаивается своего воспитанника.

С Левого Рыжовым знакомство у меня шапочное, я успел вырасти из той аспирантско-студенческой среды, где он сейчас бурно развивает свою деятельность. Тем не менее он всегда обращается ко мне по-свойски.

— Слушай, шеф, мне надо поговорить с тобой.

И двинулся по коридору, приоткрывая то одну, то другую дверь, ища свободную комнату, нисколько не сомневаясь в том, что я за ним послушно последую. Хотя в самом деле, почему я должен отказывать ему в разговоре?

Мы уселись в пустой аудитории. Рыжов не бросился сразу в наступление, а с решительностью и напором начал обходный маневр:

— Знаешь, Крохалев, что у тебя есть тайный поклонник?.. Да, да, я! Можешь сколько угодно морщиться. Мне в общем-то плевать, поверишь ты сейчас или не поверишь. Но не со старика же Зеневича мне брать пример. Он как ученый выдохся еще до моего рождения. Впрочем, и твой научный дядька — окаменевшая реликвия, хватал звезды с неба где-то в довоенные годы. И если б я, как ты, имел приход в виде солидной лаборатории, то неужели бы пошел с шапкой к Зеневичу — подкинь идейку! Нет, из пустой бочки не капнет. Держал бы я своего научного руководителя на почтительном расстоянии. Да что я тебе размазываю, ты и сам так поступаешь...

— Ближе к делу,— попросил я.— Ты ведь не для того меня зазвал, чтоб объявить мне о своем почтительном уважении к моей особе.

— Ха! Да это и есть самое главное, что твоему счастью завидую. И не я один — стоишь хорошей зависти! На много ли меня старше, а уже сегодня у тебя прочное положение в институте, завтра — в большой науке. Прямая дорога на академический Олимп!

— Ой ли?

— Ага! Сам чувствуешь, что твое, столь прочное, может обвалиться. Верь не верь, а мне вовсе не доставит радости, если ты скovyрнешься. Напротив, я, так сказать, идущий за тобой по пятам, должен понимать — нынче опрокинут тебя, завтра таким же манером могу загреметь и я...

Он замолчал, выжидательно глядявываясь наглыми синими глазами — не возражу ли? Я молчал, и мне, право, не стоило труда выглядеть равнодушным. Я уже понял, к чему он ведет, но помогать ему желания не испытывал, пусть уж сам справляется.

Завидует моему счастью... Его папа — довольно крупная фигура в городе, командует большим ремонтным заводом, в раннем детстве его возили на юг к морю, бассейны, спортивные секции были к его услугам. В школе наверняка его побаивались учителя — папа влиятелен, а сам своенравен; любили девчонки — красив собой; уважали товарищи — здоровые бицепсы. А он всех скопом самоуверенно презирал. Он не знает, что такое несчастье, а потому и о счастье имеет самые смутные представления. Для него любая оступка, которая задержит продвижение вверх,— уже недопустимая катастрофа. Ему кажется, что все должны содрогаться от грозящих осложнений. И сейчас он ими хочет напугать меня — тебе грозит! — насколько не сомневается, что запаникую, с головой отдамся ему в руки: «Спаси, ради Христа!»

Наглая синева в упор... Он так и не дождался моего ответа и, кажется, был обескуражен моим пренебрежительным равнодушием.

— Так вот,— уже почти с угрозой,— твой старик зарвался, и объяснять мне тебе не нужно, сам хорошо знаешь. Но его только пощиплют, посклоняют на разные лады и... оставят в покое. Даже кафедру не отнимут, все звания и заслуги при нем останутся. Словом, с него как с гуся вода, плохо-то придется тебе. Тут логика простейшая: не сам Лобанов проводит в жизнь лобановское, а

кто-то из его верных соратников, из тех, кто помоложе, поэнергичней. Уж их-то, поверь, схватят за шиворот. Да, брат, жесткой рукой! Тебя схватят и потрясут, все тобой сколоченное и налаженное передадут другому. Или не веришь, мечтаешь, обойдется?

— Вполне возможно, так и будет.

— Не будь олухом, соображай, как этого избежать!

— И вправду, как?

— Ты не только сохранишь за собой лабораторию, ты станешь полным хозяином, сам себе научный руководитель. Зачем тебе шеф? Старая утка не снесет золотое яичко.

— Так что же мне следует делать?

Он самоуверенно полагал, что люди могут быть лишь хуже его, но непременно во всем на него похожи. С такой точки зрения трудно быть пронизательным.

Он ответил мне с досадой:

— Да неужели надо, черт возьми, объяснять! Завтра собрание, следовательно, необходимо... жизненно необходимо выступить. И зачеркнуть знак равенства между вами. Не мне же для тебя составлять шпаргалочку, сам найдешь доходчивые слова?

Я выдержал паузу и сказал:

— Хорошо, я выступлю.

Впервые он засомневался во мне, поглядел с подозрением.

— Выступлю,— повторил я.— Можешь ликовать.

И подчеркнуто сердито отвернулся от него.

Ему очень хотелось мне верить, а свои желанья этот человек считал едва ли не единственным законом, которому следует подчиняться.

— Все. Договорились.

Он упруго встал, кинул на меня оценивающий взгляд, двинулся к двери. Но в дверях он все-таки засомневался, обернулся всем телом, расправил плечи:

— Не вздумай какое-нибудь коленце выкинуть. Обстановочка боевая, никаких шуточек не прощают.

Он угрожал.

— Не дрожи,— успокоил его я.— Не передумаю.

И моя досада опять его утихомирила — натурально, должен досадовать, если попал как кур во щи.

Я долго сидел в пустой аудитории, думал... Нет, не о Борисе Евгеньевиче, знак равенства с которым мне предлагают перечеркнуть, а о ректоре Илюченко. Догадывается ли он, что все его дело целиком забрали в свои руки

такие вот расторопные молодцы? Наверняка не слеп и не глуп. Можно не сомневаться, что боится — загонят в угол, уже сейчас готовит маневр на будущее против расторопных молодцов. Честный человек, но какими кривыми путями принуждает себя идти.

А левы рыжовы наглы и не изобретательны... Что ж, дураков учат.

6

Ни Пискарев, ни Зеневич не сидели за столом президиума. Они были в зале, среди масс, рядовые члены собрания. Разумеется, они подымутся на трибуну, но в свое время, когда скажут свое слово другие, заклеят и осудят. И можно не сомневаться, что их выступления будут снисходительными, почти всепрощающими.

Борис Евгеньевич демонстративно уселся в самом первом ряду. И кресла по одну и другую сторону от него пусты. Меня тоже нет рядом с ним. Я издалека видел его вызывающе вскинутую лысину.

На председательском месте за столом — он, ректор Илюченко. Ни мрачен, ни подавлен, ни взволнован — бесстрастен. Незнакомых лиц нет возле него, никто на этот раз не приглашен со стороны, все свои, домашние, судилице по-семейному.

Вступительный доклад делал профессор Примаков. Невысокий, стариковски хрупкий, благородно седенький, с отрешенным грустно-бледным лицом истощенного постами схимника, он был далек от всяких склок и скандалов, не исполнял никаких административных функций, тихо и кропотливо занимался своими спорowymi растеннями, со всеми ладил, но ни с кем особо не сближался. Не был Примаков и трибуном, красноречием особым не обладал, но, странно, как только нужно было кого-то разгромить, призывали его, тишайшего и почтенного, никому ничем не досадившего, не таившего ни на кого обиды. И он тусклым ровным голосом, без запала, со скрупулезностью ученого разбирал про и контра, и всегда так, что вина непременно оказывалась доказанной, а выводы о наказании уже напрашивались сами собой. Случалось, обстановка вдруг круто изменялась, обличение оказывалось дутым, а наказание несправедливым. Но и тогда никому в голову не приходило упрекнуть кроткого профессора Примакова. Даже самим пострадавшим. Искали и нахо-

дили других виновников, и снова на трибуне появлялся тишайший Примаков, взвешивал «за» и «против», вскрывал улики, совсем противоположные прежним.

И сейчас Примаков, едва возвышаясь над высокой трибуной седым пробором и узкими плечиками, ровненько излагал, как глубоко не прав профессор Лобанов. Он для этого занялся всесторонним рассмотрением немаловажного вопроса: что такое научная дискуссия, имеет ли право ученый с пристрастностью отстаивать свою точку зрения? Выходило по всему — имеет. Тогда почему же профессор Лобанов осуждает за излишнюю пристрастность своих коллег, Пискарева и Зеневича?..

Зал изрядно скучал, а я слушал и гадал: почему всегда Примаков и кто на этот раз его вытащил на трибуну? Не Пискарев же с Зеневичем! Ректор Илюченко? Что ж, пожалуй, Примаков его вполне устраивал: пусть обвиняет тот, кто не склонен к зашталкованности, не связан с противной группировкой, лицо достаточно авторитетное и нейтральное. Но Примаков устраивал и Пискарева с Зеневичем: конечно, всего, что им нужно, он не скажет, зато все будет выглядеть и добропорядочно, и беспристрастно. Но всего удивительней — Примаков устраивает даже меня! Обстановка сложилась не в пользу Бориса Евгеньевича, и если не Примаков, то выскочит на трибуну непременно какой-нибудь Лев Рыжов. Уж пусть лучше Примаков. Он всегда устраивал всех, даже обреченных...

Примаков добросовестно нанизывал одно умозаключение на другое, а мне стало вдруг не по себе от той равнодушной покорности, с какой этот совсем неагрессивный, скорее робкий и застенчивый человек расправляется, не испытывая ни зла, ни обиды. Да способен ли он вообще что-либо чувствовать? Как он относится к своей жене, детям, внукам? Может ли он любить и привязываться? И почему он пользуется уважением? Почему, встречаясь с ним каждый день, никто не содрогается от ужаса? Ведь все знают, что любого он может без страсти, чинно, логически доказательно обличить в преступности.

Профессор Примаков говорил, его скучающе слушали, ни на одном лице я не видел удивления, никто не испытывал страха, кроме меня. Бесстрастие докладчика словно прилипло к физиономии каждого сидящего в зале. Как жаль, что не могу заглянуть сейчас в лицо Бориса Евгеньевича, его вскинутая лысина ничего не выражала.

Примаков кончил. Медлительно, с достоинством человека, сделавшего важное, полезное и нелегкое дело, он

снял очки, собрал с высокого пюпитра бумаги, удалился к столу президиума — сутуленькая узкая спина, что-то беззащитно детское, трогательное в седых косицах, ниспадающих на воротник пиджака. Аплодисментов не было, лишь минутное неловкое молчание. Неловкое, но вовсе не растерянное и не подавленное.

Энергично, сокрушающе, скрашивая брѣские обвинения интонациями оскорбленного достоинства, постоянно повторяя: «Мы, вступающие на научную стезю... Мы, принимающие нелегкую эстафету...» — ни разу не произнося местоимения «я», прогремыхал речугу Лева Рыжов. Это тебе не тактичнейший Примаков.

— Слово имеет товарищ Крохалев Павел Алексеевич! — с недогнувшим лицом, ровным, без выражения, голосом объявил Илюченко.

А в глубине зала кто-то выдохнул:

— Ух! — словно окунулся в холодную воду. К трибуне звали ближайшего ученика судимого профессора.

На пути к трибуне я успел заметить, что Илюченко передвинулся на своем стуле, замер в неловкой позе. И это нетерпеливое движение и острый взгляд на невозмутимо каменном лице в какую-то даже не секунду — долю секунды открыли мне многое. Да, ему, Илюченко, доложили, что я согласился выступить против Лобанова. Он мог и предупредить и разубедить тех, кто докладывал. И не предупредил, не захотел, хотя и понимал — не исключены неприятные последствия лично для него. Сейчас он ждет скандала, неосознанно желает его, приготовился...

Все это не пронеслось в моем мозгу, а скорей просто впечаталось в него. Впечаталось и упало куда-то в подвальные глубокие запасники — не до переливов Илюченко, предстоит бой!

Я встал за трибуну и тут-то наконец увидел лицо Бориса Евгеньевича. Он теперь сидел прямо напротив меня. Его лицо было спокойно и брезгливо. Брезгливость наверняка относилась ко мне.

— Я было хотел рассказать вам, товарищи, — начал я, — незатейливую притчу о том, как меня вербовали в Иуды, предлагая за учителя тридцать сребреников. Мой соблазнитель только что стоял на этом месте и выступал перед вами, я рад, что могу лишний раз не произносить его имя... Но более любопытное явление привлекло мое внимание сейчас!..

Я повернулся к столу президиума, где, скромненько приткнувшись к самому уголку, безмятежно восседал Примаков.

— Позвольте вам задать один вопрос, профессор Примаков: вы-то сами, простите, верите в то, о чем говорили в течение сорока минут?

Примаков судорожно дернул тощим коленом, потерянно помигал на меня, изумленно тихим голосом изрек:

— То есть как?

— Да вот так, верите или нет в то, что вами сказано?

Переполох в старческом теле.

— Ну разумеется... Ну конечно...

— А так ли уж разумеется, профессор Примаков? Если бы мы тут обсуждали поведение не Лобанова, а Пискарева с Зеневичем, то наверняка выступали бы вы и с тем же успехом доказывали их вину, то есть прямо противоположное тому, что доказывали сейчас! Кто из вас в этом сомневается, товарищи? — повернулся я к залу.

Зал отчужденно и настороженно промолчал. И грохнул в ответ голос:

— Гнусная демагогия! Ложь!!!

Кричал Лева Рыжов.

— А, это ты, соблазнитель! Не возмущайся, ведь ты тоже не веришь, но только никогда не сознаешься — невыгодно тебе по многим причинам.

— Демагогия...

Зал вышел из летаргии, шумно заворочался, зашикал на Рыжова. Под шумок взвился чей-то выкрик:

— Вер-но! Никто не верит!

Председательствующий Илюченко постучал по графину, грозно взгляделся в зал, столь же грозно на меня, но ничего не произнес, не оборвал.

— Так вот, я утверждаю: докладчик Примаков говорил и не верил ни единому своему слову, но при этом считал — так нужно! Мы все его слушали и тоже не верили, но, как и он, считали — все в порядке, так нужно. Получается, что все мы — и те, кто говорит с трибуны, и те, кто сидит в зале, — играем в игру, где условие: ложь следует принимать за правду. Но опомнимся, эта фальшивая игра — ложь вместо правды — наша жизнь! Никто не сомневается, что брошенные профессором Лобановым обвинения в адрес Пискарева и Зеневича соответствуют действительности, но доказываем себе — Лобанов клеветает! Никто не сомневается, что склоки между группировками Пискарева — Зеневича нечистооплотны, амораль-

ны, портят и атмосферу, и людей в институте, а собираемся наказывать того, кто говорит об этом. Неужели вас не страшат последствия такой игры?

Я замолчал, молчал зал, глядел на меня, дышал.

— Вы ждете, что я стану доказывать, как это плохо, призывать вас — покончим! Не стану... Если и сейчас кто-то не увидел фальшивую игру, не содрогнулся от ужаса и отвращения к ней, то может ли слушать такой доказательства, откликнется ли он на призывы? Ну а тем, кто уже содрогнулся, доказывать необходимости нет, оглушать их призывами тоже бессмысленно. Я не могу жить, гнусно играя... Вот и все, что хотел сказать... Дуайте!

Я вышел из-за трибуны и двинулся навстречу подавленному молчанию. Сойти вниз я еще не успел, как раздался крик:

— Слова!! Прошу слова!! Заявление!.. Две минуты! — Сильный, напористый голос Левы Рыжова.

Он упругим скоком тренированного баскетболиста мчался по проходу. И вдруг остолбенело замер перед самой сценой... Трибуна, к которой он стремился, оказалась уже занятой. Над ней возвышалась седая — божий одуванчик — голова профессора Примакова. Председательствующий Илюченко растерянно взирал на него.

И тут произошло чудо. Примаков вскинул вверх сжатый костлявый кулачок, закричал рвущимся, петушиным голоском:

— Он прав... Да, да!.. Товарищи, Крохалев прав!.. Я говорил и не верил! Нет!.. Борис Евгеньевич! Простите, если сможете, меня великодушно. Выполнял условия — да, да — проклятой игры!.. О господи! Поносил вас, а сам же в глубине души преисполнен... Да! Уважения! Да! Почтительности!.. Меня втянули в эту игру не сейчас, нет, давно... Бог ты мой, лет тридцать пять назад, если не более... Был случай, потребовали: доказывай, что черное есть белое, чистое есть грязное! И намекнули, только намекнули: не справлюсь — будет плохо. А тогда намеки были страшней угроз. И я с тех пор стал доказывать. И даже оказался способен, привык, уверовал — дело делаю... Но теперь-то зачем?.. Я старый человек, время иное, никого не пугают, ничего не боюсь... Зачем?!

Примаков размахивал костлявым немощным кулачком над сединой, выкрикивал, а Лева Рыжов остолбенело стоял перед ним, а зал, обморочно замерев, слушал.

— Хотя, впрочем, так ли уж теперь безопасно... Вот

такие...— Примаков выкинул скрюченный палец на Леву Рыжова.— Думаете, такие помилуют?.. А они полны сил, энергией заряжены так, что хоть тротильным эквивалентом их измерять, и ни чести у них, ни совести — старого и молодого с ног сбьют, в землю затопчут...

Лева Рыжов очнулся и понятился задом, задом по проходу.

— И подумать: только страх вот перед такими у меня не возмущение вызывал, не ненависть, а... уважение. Да, да, если вдуматься, извращение какое-то... Крохалев, вы жестокий урок преподали старику. И поделом... Век жи-ви — век учись. Поздно только...

Примаков ссутулился, стал меньше ростом, отвалился от трибуны.

Со сдержанной строгостью на лице поднялся Илюченко:

— Наше собрание принимает несколько стихийный характер. Требую придерживаться элементарного порядка, не устраивать Новгородское вече. Напоминаю: прежде чем выступить, следует попросить слова. Тут товарищ Рыжов хотел сделать заявление на две минуты. Мне думается, нет оснований ему отказывать. Прошу вас, товарищ Рыжов!

Зал освобожденно зашевелился, головы впереди сидящих повернулись назад. Рыжов не откликался.

— Рыжова не слышно. Тогда кто просит слова, товарищи?

— Разрешите, Иван Павлович!

По проходу двинулся плотно сбитый, массивная голова в упрямом наклоне, цитолог Бойтер. Он не был учеником Бориса Евгеньевича, а другом — пожалуй...

7

Сразу же после собрания я стал героем дня. Вокруг меня толкались, мне заглядывали в глаза, мне жали руку, говорили восторженные слова. А я не чувствовал себя победителем, испытывал нечто похожее на угрызение совести. Никак не отвага, даже не стремление к справедливости заставило меня без оглядки бросить упрек залу, а, скорей, отчаяние — нечего терять, все и без того уже потеряно. Этого не в состоянии был предусмотреть Лева Рыжов, а теперь не понимали все кругом. Кто-то однажды сказал, что если бы у людей не было ответственности

за семью, мир легче бы принимал истину. У меня ни семьи, ни будущего — пустота впереди, ничем не рисковал, никаких последствий не боялся, как легко мне провозглашать неприятную истину. Храбрость висельника, а не нормального человека.

День кончился, вечером я возвратился домой и снова оказался один.

Меня оглушил звонок. Звонили в дверь — обычное из обычных событий для любого из людей. От него не вздрагивают, ему идут навстречу без учащенного сердцебиения, со спокойной и коротенькой мыслью: кто это?.. Звонок в дверь для меня мог быть и сигналом к возрождению и убийственно досадной случайностью. За дверью могла оказаться она — берет на густых волосах, глаза в упор, знакомая кривизна губ. А могли и: «Ляпуновы здесь живут?» — «Этажом ниже, вы ошиблись».

Непослушными руками я открыл дверь. Передо мной стоял Борис Евгеньевич.

Он молча перешагнул порог, снял шляпу.

— Могу раздеться? Не прогоните?

— Борис Евгеньевич!..

Не возрождение, нет, но подарок. После Майи я больше всех на свете хотел бы видеть на этом пороге его.

— Вас сразу тогда окружили, и я не хотел толкаться в общей куче, Павел. Но не поговорить с вами я не могу... Не напоите ли вы меня чаем?

И вот мы сидим за кухонным столом. И я вновь вижу его вблизи. Лицо его еще больше усохло, щеки втянуты, глаза запали, но прежнее убежденное спокойствие в складке губ, в глубоких морщинах.

— Я посмел дурно о вас подумать, мой мальчик, и теперь мне стыдно за себя. Но что делать, все мы знаем, как ненадежны, изменчивы бывают люди, а вы тогда говорили чужие, ни с чем не сообразные слова.

— Борис Евгеньевич, вы пришли, а этим все уже сказано. Не будем о том...

— А сегодня я увидел вас в настоящем вашем качестве...

— Так и есть, в моем настоящем... А оно... оно, Борис Евгеньевич, крошечное. И нет никакой надежды на просветление. Удивляются, как я отважился на риск? Какой может быть риск у обреченного?

Из-под надрывнутого лба, из затененных впадин выныр-

нули глаза, в них осторожное внимание, в них выжидание и ничего более.

— Значит, правда то, что слышал...

Он слышал, не удивительно. У Крохалева ушла жена — эта новость прошла по институту, но никого особо не затронула, вызвала любопытство, но не вызвала острого сочувствия. Такое ли это сногшибательное известие, кругом постоянно кто-то сходится и кто-то расходится — обычно, привычно, перемелется... А вдуматься — достойно удивления: всем знакома такая беда, кто-то даже сам ее пережил, но почему-то никто не ужасается — страшно же, человек остается в неприкаянном одиночестве, отброшен в сторону от людей! Обычно, привычно, перемелется!.. Непонятная черствость.

Я не собирался подпускать Бориса Евгеньевича к своей беде, но он легко шагнул в нее с той стороны, с какой я меньше всего ожидал.

— Вы знаете того человека? — спросил он.

Вопрос в лоб о Гоше Чугунове.

— Знаю.

— Кто он?

— Из птиц божиих, что не сеют, не жнут, а сыты бывают.

— Вы хотите сказать, что он не может быть ответственным за других? За нее в том числе?..

Я даже вздрогнул от неожиданности — Борис Евгеньевич сразу же ухватился за то сокровенное, что больше всего меня мучило: не может быть ответственным за других... Безответственность моего счастливого соперника — ненадежное утешение, никак не гарантия, что Майя вернется ко мне.

— Не повторите того, что случилось со мной, Павел...

Я поднял на него глаза. Морщины, собранные на лбу, под сияющим черепом, брови, сведенные над хрящеватым носом, глубокие складки в углах сплюснутых губ — новое для меня выражение застарелой смиренной тоски.

— Для вас же не секрет, Павел, что я в свое время пережил то же самое...

— Выходит, и тут я ваш достойный ученик.

— Просто все в мире сем повторяется, мой мальчик... Вы только не знаете, и никто этого не знает, что она однажды пришла ко мне.

— Кто? Ваша первая жена?!

— Да... Но слишком поздно — десять лет спустя.

— Через десять лет! К вам! Зачем?..

Борис Евгеньевич горько хмыкнул:

— Зачем среди зимы паступают оттепели, а среди лета иногда падает снег?.. Не все-то на свете объясняется той или иной очевидной причиной. Она пришла взглянуть на меня, пригнало крутое желание, много лет ему противилась и... не выдержала. А я был давно уже снова женат, окружен заботой, очастливлен преданностью — предать невозможно. Да она и не требовала от меня предательства, ни на что не рассчитывала. Обстоятельства ее связывали еще сильнее, чем меня,— дети... У нее были две дочки от другого мужа, лишать их отца она не хотела...

Борис Евгеньевич замолчал, уставясь в пол, и морщины на его лбу были мученически сведены. Мне, несчастному, он исповедовался в своем несчастье, хроническом и, похоже, уже непоправимом. Странно, но мне стало легче — меня не только понимают, во мне, выходит, даже нуждаются.

— Кажется, это Белинский сказал,— заговорил снова он,— что нет достоинств у того, кто любит один раз в жизни, и нельзя упрекать тех, кто любит тысячу раз. Сомнительные слова. Влюбленность, да, можно испытывать множество раз, порой даже сразу в нескольких. Но любить глубоко... Какая же глубокая любовь, когда она быстро проходит, чтоб уступить место другой?.. Жизнь человеческая, право, не столь уж и долга, чтоб в ней могло поместиться слишком много чего бы то ни было большого — больших открытий, больших свершений, больших, всеподавляющих чувств!.. И когда я увидел ее, уже немолодую, уже не столь красивую, как прежде, даже скорей просто некрасивую, мне вдруг открылось тривиальное — воистину «большое видится на расстоянии». Жили нос к носу и не замечали, в каком океане мы плывем. Зато видели в нем мелкий сор: несовместимость вкусов, несовпадение взглядов, случайные минуты дурного настроения друг у друга — ничто не пропускалось и ничто не прощалось. И впечатление, что наша жизнь, по которой плывем, сплошь замусорена... Мда-а... Она уплыла в сторону и там столкнулась с тем же житейским сором и наверняка быстро оглянулась назад, наверняка сделала грустное открытие для себя: позади все-таки было почище... Для такого открытия не нужно было десяти долгих лет. И оказывается, все это время она ждала, что я подам голос, позову ее из своего далека... А я... Я был оскорблен, я был горд. Как часто за нашей гордостью прячется обычная

косная нерешительность, неподъемная вялость души... Мда-а...

— Уж на то пошло, чего же она сама не крикнула? — спросил я.

— Сама?.. А вы встаньте на ее место: она уплыла за счастьем, она пренебрегла человеком. Взывать о помощи к тому, кем пренебрегла?.. Нет, голубчик, ей крикнуть трудней, мне было куда легче. Не сделал... Не совершите того же... Я достаточно хорошо знаю вас, вы не из тех, у кого тысячу раз кратковременное может меняться на кратковременное. Вы встретили, вы полюбили, и вовсе не обязательно, что такое еще раз случится в вашей жизни...

Он не успокаивал меня, как успокаивал бы любой и каждый благожелатель: свет клином не сошелся, перемелется... В его словах было больше угрозы, чем утешения, а во мне, как ни странно, забрезжила смутная надежда, никак не отчаяние — не все еще кончено!

«...Не обязательно, что такое еще раз случится в вашей жизни...» Борис Евгеньевич не знает, как рано впервые шевельнулась во мне мечта о Ней, — мальчишкой, который устал тащить неподъемные солдатские ботинки отца по грязной весенней дороге. Мальчишка остановился, увидел вокруг себя мир и учуял, что в этом светлом мире его где-то ждет Она! Майе тогда едва исполнилось два года, мне — восемь лет. И после этого я всю жизнь ее искал — два десятка лет! Начинать искать заново?.. Рассчитывать, что на этот раз удача придет быстрее? Ой ли! Через двадцать лет! И мне уже будет вплотную пятьдесят. А сколько же той, которая должна заменить Майю?..

Она неповторима! Она единственная! Все другие для меня запредельны. Я должен Ее вернуть и ни на что не рассчитывать!

Это уже походило на решение, а каждое принятое решение — начало действий. Похоже, я возрождался...

А он продолжал:

— Пишут о любви с первого взгляда... Может быть, хотя со мной такого и не случалось. Но одного быть не может, мой мальчик, — с первого взгляда понимания. Есть ли на свете такие, на кого посмотришь и сразу поймешь — человек как на ладонке? Каждый из нас с секретами... Дорогой мой, за понимание друг друга люди платят кровью, кусками жизни. Не считайте себя исключением.

Борис Евгеньевич ушел, разворошив меня: снова в

тревоге, снова в смутной надежде, снова желание что-то предпринять, идти на риск, жертвовать собой. И снова все кровоточит внутри...

Дома под дверью я увидел письмо. Кто-то бросил его в почтовую щель. На конверте ни марки, ни адреса, только твердо и размашисто выведена моя фамилия. Я вскрыл...

«Дорогой Павел!

Все, что случилось у Вас с Майей, раздавило нас. Как ни сильно мы любим свою дочь, но оправдывать ее, увы, не осмелимся. И уж тем более не можем винить Вас, скорей готовы принять вину на себя. Тяжело, горько, но приходится запоздало сознаваться — девочка выросла с сумасбродным характером. Мне, как отцу, порой даже кажется, что простонародное — мало бита, много нежена — тут вполне справедливо.

Мы и раньше были о Вас самого высокого мнения, а теперь и вовсе отчаиваемся — кого лишается наша дочь! Вы именно тот, кто со временем мог бы сделать ее полностью счастливой. Кое-что мне удалось разузнать о человеке, с которым она сумасбродно сошлась. Вот он уж никогда — поверьте, *никогда!* — не переступит наш порог, если даже трижды будет дорог нашей дочери.

Мы успели убедиться, Вы не черствы, не обидчиво мстительны, не мелочны. Догадываемся: Вам сейчас очень нелегко, смеем думать, у Вас горе. Горе и у нас, ее родителей. Общее! А потому нам не следует сторониться. Не лучше ли сойтись, попробовать как-то поддержать друг друга. А вдруг да совместно мы найдем возможность повлиять на неразумную дочь и жену.

Давайте встретимся, поговорим. А?..

Если Вы не против, то я бы предложил не откладывать встречу в долгий ящик. Не сможете ли заглянуть к нам завтра вечером, часов так в восемь? Доставьте нам эту радость. Позвоните, если согласны.

По-прежнему Ваш — И. И.

P. S. Я тороплю Вас со встречей еще и потому, что моя беспокойная служба постоянно гонит меня из дому. Скоро я буду вынужден выехать на дальний объект. Придет-

ся оставить одну отчаявшуюся и совсем больную жену, да я и сам, признаться, чувствую себя крайне плохо — сдает сердце».

Мой тесть Иван Игнатьевич первое время отпугивал меня своей замкнутостью и насупленной молчаливостью, но очень скоро я понял, что это от врожденной застенчивости покладисто-доброего человека, который может уступать всем и во всем, но лишь до тех пор, пока не затронут его убеждения, кстати, несколько чопорные и старомодные. Он, например, упрямо считал, что слишком узкие брюки и слишком широкие — признак пустоты и никчемности, а мини-юбки — безнравственности, интеллигентское происхождение само по себе подозрительно, качественны и достойны доверия лишь те, кто выдвинулся из простого народа. Я не носил ни слишком широких, ни слишком узких брюк, родился в деревне, без чьей-либо опеки, сам пробился в науку, а потому пользовался уважением Ивана Игнатьевича, тихим, внутренним, не афишированным. И можно представить, как его удручил Гоша Чугунов. Мало того, что этот Гоша разбил семью, заставил дочь изменить долгу и добропорядочности, он еще личность скандально невразумительная — то ли ту-неядец, то ли поп-расстрига, черт знает что!

Горе Майиных родителей едва ли меньше моего. Могу ли я повернуться к ним спиной, отказаться, когда они предлагают союз? Но и являться к ним в жалкой роли брошенного мужа, не сумевшего удержать ни свое счастье, ни сохранить счастье их дочери, удовольствия мало.

Утром я позвонил Ивану Игнатьевичу на работу и сообщил, что приду.

Накрытый, как и прежде, стол, воздушные пирожки с капустой, испеченные тещей, знающей, что я их очень люблю. На стене напротив меня большая фотография в рамке под стеклом — девочка, глядящая исподлобья темными глазами, у нее прямые, еще не вьющиеся волосы, тонкая шейка, большой своенравный рот. В детстве Майя не обещала стать красивой — скорей дурнушка, но явно уже с характерцем. Рядом висит безглазая, яркая, сатанински улыбающаяся маска, родственница тех московских масок, которые были свидетелями первого крупного моего с Майей скандала. Она здесь росла, чтобы встретиться со мною. Она теперь порвала с этим миром, как порвала со мной.

Иван Игнатьевич из тех, кто нескладно скроен, да крепко шит. Он кажется слегка приплюснутым сверху — раздался вширь. Большая плоская голова лежит без шеи на массивных плечах, лицо раздвинутое, простецки добродушное, если бы не внушительно грозное украшение — колючекустистые бровищи ржаного цвета, под ними таятся глаза, нужно время, чтоб заметить их застенчивость и внимательность. Руки у него короткие, толстые, веснушчатые, покрытые густо ржавым волосом, могучие руки кузнеца-молотобойца. Иван Игнатьевич начинал свою самостоятельную жизнь подручным в деревенской кузнице.

В расплывчато-мягком, белом лице Зинаиды Николаевны, как утренние звезды сквозь кисейные облака, неявно проступают отточенные черты Майи. Больше всего мать и дочь схожи глазами, застойно-темными, реснитчато-овечьими. Но только у Майи были капризно непостоянны — то матовые, не пускающие в себя, то безумно провальные. И сколько ни ищи, ни в отце, ни в матери не найдешь той присущей Майе, хватающей за душу скорбинки, которая не сходит с ее губ, не родительское, не переданное, а благоприобретенное — оригинальное изображение господа бога.

Зинаида Николаевна старается не глядеть на меня. Как ни уверял меня в письме и в первые минуты встречи Иван Игнатьевич, что оба они высокого обо мне мнения — он и она в одинаковой степени, — однако я сейчас всей кожей чувствую: она и хотела бы сопереживать мне, да не может. Уж раз дочь сбежала от мужа, то, значит, ей было несладко с ним, материнское восстает, глаза Зинаиды Николаевны опущены к столу.

Я понимаю ее затаенную неприязнь. Больше того, я невольно чувствую себя виноватым — дурно справился с ролью мужа, — но одновременно досаую и на Ивана Игнатьевича: зачем он затеял это принужденное союзничество, где навряд ли можно избежать недоверия и неприязни.

Иван Игнатьевич осторожно расспрашивает меня о нем, таинственном и пугающем. Иван Игнатьевич хочет выпытать, какими же достоинствами он соблазнил дочь.

— А вы его хорошо знаете, Павел?

— Достаточно.

— Я, конечно, очень хотел бы услышать, что, собственно, это за личность, но понимаю, вам, наверное, и неприятно о нем говорить, и трудно быть к нему объектив-

ным. Скажите мне лишь одно, Павел: что же этот человек может пообещать ей такого, чего вы были не в состоянии дать?

— Сомневаюсь, чтоб он что-то ей обещал.

Я не решаюсь упомянуть об иллюзиях, которыми богат Гоша Чугунов. Майины родители тут могут понять упрощенно — обманщик, соблазнитель, не более того. А это походило бы уже на ложь.

Иван Игнатьевич удрученно молчит. И тогда задает вопрос Зинаида Николаевна, более существенный и коварный, нацеленный против меня:

— Павел, если бы не он... Кто другой мог бы появиться?..

Мне ничего не остается, как признаться:

— Наверное, появился бы...

— Как?! — изумляется она. — Так разве не в нем причина?

— Причина — Майе было плохо со мной.

Я прекрасно сознаю, как убийственна сейчас моя искренность, но влиять и выгораживать себя не хочу. Уж пусть Майины родители обо мне нелестно думают, зато верят мне.

Иван Игнатьевич подавленно молчит, а Зинаида Николаевна, скрывая вражду, изумляется:

— Зачем же вы так... на себя?..

— Ей было плохо со мной, — повторяю я, — но повинным в этом себя не считаю.

И Зинаида Николаевна подобралась.

— Значит, она виновата?

— А если виновников нет?.. Вы можете себе такое представить?

— Но случилось же! Случилось! Что-то послужило причиной.

— Что-то — да, но не кто-то. «Любовная лодка разбилась о быт» — это сказал Маяковский и пустил себе пулю в лоб. Виновников, насколько я знаю, он не искал.

— Павел, — снова заговорил Иван Игнатьевич, — вы же не считаете, что ей с ним будет лучше?

— Если б так считал, то ни на что уже не надеялся. А я все-таки еще надеюсь... Да, на ее возвращение.

Иван Игнатьевич подался на меня.

— Вы надеетесь, но, Павел... Прежде чем она разберется и захочет вернуться, может случиться всякое. Будем говорить без обиняков: могут появиться дети, Павел, которые намертво привяжут их друг к другу!

— Тот человек не способен создать семью и заботиться о детях. В этом я убежден. Тогда-то она и вернется ко мне, другого выхода у нее просто не будет.

— Но вас... Вы же живой человек, Павел, вас это должно глубоко оскорбить.

— До оскорбленного ли мне самолюбия, Иван Игнатьевич, если стоит вопрос, жить мне или не жить дальше?

— Вы чувствуете в себе силы простить ее?

— Я чувствую в себе большее — силы ждать ее.

Иван Игнатьевич, насупив брови, взглядывался в меня.

— Спасибо, Павел... — сказал он тихо. — Вы сказали все, что я хотел от вас слышать. А остальное... — Он взглянул на часы. — Остальное скажет она... Хотел бы я, чтоб моя дочь была столь же искренна с нами, как и вы.

— Скажет?.. Она?! — Меня насторожили не столько слова Ивана Игнатьевича, сколько его взгляд, брошенный на часы.

— Павел, я не решился вас сразу предупредить — я пригласил сегодня и ее. Она с минуты на минуту должна прийти.

— Она знает, что я здесь?

— Нет, конечно. Отказать нам во встрече она не могла, а вот встретиться с вами... Тут я не был уверен, что она захочет. А мне очень нужно, Павел, спросить ее при вас: почему?.. Пусть ответит в глаза нам всем.

У меня в голове закружилась карусель. С минуты на минуту... Она придет, увидит меня и подумает: цепляюсь за родителей, настраиваю их, отец вытащил ее по моему настоянию!.. Она вспылит, и произойдет что-то для меня постыдное. С минуты на минуту... А я как хочу ее видеть! И удастся переброситься с ней хотя бы парой слов... Но слова-то ее навряд ли меня обрадуют. Хорошенький же подарочек преподносит мне Иван Игнатьевич!..

Возмущаться сейчас было нелепо, да и некогда — с минуты на минуту...

Я успел только криво усмехнуться:

— Не в слишком выгодной позиции я предстану... — как в прихожей раздался звонок...

Я не так уж и долго не видел ее. Прошло всего чуть больше недели, как мы расстались. Одна неделя... Какого напряжения мне стоило переплыть через нее — бесконеч-

на, уже обессилел! А быть может, придется продираться через годы и годы. И только что самоуверенно похвалился: чувствую в себе силы ждать ее.

Стремительно летящая походка, словно ветер ворвался в комнату, запрокинутая, с тяжелой копной волос голова, чуть суше стало ее лицо, чуть чеканней и горделивей. Пожалуй, она теперь красивей прежней, а может, просто потерянное всегда кажется прекрасным.

Она увидела меня — брови словно выскочили вперед, губы дрогнули, в глазах вспыхнула затравленность.

Отец поспешно и внушительно объявил:

— Устроил эту засаду я. Павел не знал, что ты придешь.

— Здравствуй, Павел.

— Здравствуй, Майя.

Решительно уселась за стол рядом с матерью, наискосок от меня.

— Мама, налей мне чаю.

У матери задрожали щеки и подбородок, она вскрикнула, слепо стала шарить по столу.

— Мам-ма-а!

— Ничего, ничего, сейчас пройдет... Съешь пирожка, доченька. Ты не голодаешь?..

— Нет, мама, я сыта. Мне хорошо, мама, не надо плакать.

Майя говорила с преувеличенной твердостью, но губы ее кривились и глаза подозрительно блестели.

— А ты не ошиблась, дочь? — сурово спросил отец.

— Папа! Я нашла, что искала!

— Объясни нам, что.

— Себя нашла, папа. Кажется, нашла!

Майя... Вот она, с родным изломом губ, выстрадавшая, близкая и недоступная. Ей тоже наверняка мучительны эти вопросы, а для меня они вовсе пытка. Я — неприятное прошлое, которое насильно пытаются ей вернуть. Я должен присутствовать при этом насильничании, а потому мне придется выслушать из ее уст, что был по-мехой, стал ненужным — казнь! казнь! И она только что началась, разговор еще по-настоящему не завязался, все истязания впереди. Зачем?! Никто из присутствующих не хочет творить надо мной бессмысленную жестокость, меньше всех — Майя. Но они уже сами не вольны в себе — ломают, искровенят против желания. Лучше всего встать бы сейчас и уйти, но... оскорбительно, недостойно, совсем уроню себя в их глазах. Кровь стынет в жилах от

мысли, что придется перетерпеть. Я сидел окаменевший.

Отец допрашивал ее:

— Что значит — себя, дочь? И что значит — кажется? Ты сделала отчаянное дело и не уверена до конца, права ли?

— Права. Чувствую, нашла, нашла, что давно вслепую искала.

Мать Майи, Зинаида Николаевна, по простоте душевной не понимала и не принимала сложностей и недомолвок, а потому спросила с бесхитростной бабьей прямоотой, заставившей меня содрогнуться:

— Что, он сильнее тебя любит?

Майя нахмурилась и промолчала, ей было неловко передо мной, она жалела меня, боялась глядеть в мою сторону. Отец угрюмо проворчал:

— Не задавай, мать, пустых вопросов. Иначе, как без ума, мол, ответить не сможет.

Майя тряхнула волосами.

— Любит?.. Да! Сильней?.. Не знаю!

— Ка-ак?! — обомлела мать. — Не знаешь даже, как любит?

— Не знаю даже, сильно ли сама его люблю. Его самого, а не все, что с ним...

И тут возмутился отец, навесив колючие колосовые брови, загремел приглушенными перекатцами:

— Опомнись! Что ты говоришь?.. Порвала с кровью... Не березовый чурбак перед тобой, взгляни, живой человек! Ты ему всю жизнь разворотила. Тут одно оправдание может быть — невмочь, лихое схватило, простите, справиться с собой не могу. И вдруг хаханьки — сама не знаю, то ли сильно, то ли так себе. Задешево жизнь разбиваешь вдребезги! Как только язык повернулся признаться?! Ты ли у нас такая уродилась — легкий пар вместо души, или время нынче дурное — человек с человеком ничем не крепится? Ну не пойму! Не пойму! Разойтись, порвать, чтоб снова жить некрепко... Жуть берет.

Он громыхал, а у Майи разгоралось лицо — не смущенно, не оскорбленно, скорей счастливо.

— Папа, а давно ли ты сам благословил меня на такое же?..

— Я?!

— Мамочка! — Майя качнулась к матери. — Больше всего на свете я люблю тебя и... папу. Люблю и любила!.. Павел... — Горячее лицо, умопомрачительно прекрасное, с увлажненными сляющими глазами, повернулось ко

мне: — Когда мы сходились, ты, конечно, догадывался, что своих отца-мать люблю больше, чем тебя. Тебе и в голову не приходило меня упрекать, естественно... — Осветившее меня лицо отвернулось в сторону отца. — Любила вас больше его, а ушла-то к нему! И вы оба, папа-мама, считали: так нужно, так нормально. Понимали, что не возле вас, а возле него могу найти настоящую жизнь. Не обязательно более счастливую — настоящую! Вот и сейчас я ушла в другую жизнь... Почему вы в панике? Почему слезы, мама? Вы радоваться должны!

— Настоящая жизнь... без большой любви с тем, с кем собираешься жить? Да возможно ли это, дочь?

— Верно, доченька, верно отец говорит.

В два голоса с болью и тревогой.

А Майя светилась и улыбалась.

— Ничегошеньки вы не поняли... А ты, Павел?... Хочу, чтоб ты понял: ушла от тебя не просто потому, что сильнее полюбила другого...

Когда ее лицо обращалось ко мне, ее глаза устремлялись на меня, ее голос звучал для меня, я в смятенной панике забывал свою беду, все готов был простить, со всем смириться. Трын-трава в эти секунды!

— Сменять человека на человека — и только-то?! Мало! Мало! Просто любить мужа, как это скучно — уткнуться в кого-то одного! Павел, он мне открыл, что можно любить многих, купаться в любви. Со старухой одной столкнулась, всю жизнь уборщицей работала, под унитазами подтирала, сына без мужа вырастила. А сын-то теперь гонит ее от себя — женился, а жена старуху терпеть не может. Раньше бы я мимо прошла, головы не повернула. Теперь ее беда — моя беда, безразлична эта чужая старуха, люблю ее, болею за нее, сердце надрывается, что ничем ей помочь не могу, только утешить... Я прежде всего недовольна собой была, а от этого и все кругом противно становилось и тебе, Павел, жизнь портила, а ведь нынче я даже иногда горжусь собой... Иногда, когда у меня хорошие слова к людям находят. И знаешь, люди любят меня мной... Радость каждый день, маленькая, неприметная со стороны... Папа, пойми, для меня не он один главное, а все, что вокруг него... Он мне другой мир подарил!..

Майя упруго поднялась со стула — с пылающими скулами, с доверчивыми глазами, удивленная и опьяненная, — ее чистый альт звенел по комнате:

— Он!.. Он не имеет ни своего угла, ни теплого паль-

то, ни зарплаты даже, которая могла бы его кормить. Ему от людей ничего, а он людям все: свое время, свои мечты, свои радости, наконец! И люди берут у него... Да, да, берут и чувствуют себя от его подарков счастливее, чем были. Пусть немного, пусть чуть-чуть... Он для людей, но кто-то же должен и для него! Кто-то должен скрасить его одиночество, согреть его своим теплом. Так вот — я, я! Готова на все!.. Скажешь, папа, не настоящее? Кого-то счастливым сделать, знать, что без тебя человек задохнется... Нет, нет теперь у меня сомнений — мол, живу, не знаю для чего, без толку! Не лей, мама, слезы по мне, не надо... Я, мама, теперь не одного люблю, я весь мир люблю, и весь мир, мама, мне отвечает любовью!..

Но мать Майи клонилась к столу и плакала, а отец сутулился, мрачно завесив глаза бровями.

А я был ослеплен, раздавлен. Передо мной, словно вспышка сверхновой звезды, произошел катаклизм, величественный и всежигающий.

Лихорадочный румянец окрашивал ее щеки, глаза иступленно блестели.

10

Поздний вечер, сыро, холодно, но дождя нет. На автобусной остановке молчаливые люди, терпеливо ждущие одного — понасть домой, лечь спать, закончить еще один затянувшийся день.

Сутулый мужчина в очках, с внушительным портфелем. Старик с одышкой, крупен, породист, важен, а рукава старого пальто обтрепанные, и жеваное кашне не прикрывает грязную сорочку. Девица, не юная и не перезрелая, не миловидная и не безобразная — жиденские кудельки из-под шляпки с фестончиками, какие уныло нылятся в витринах наших промтоварных магазинов. Стоят и другие, столь же молчаливые, столь же замкнутые в себе люди, нечаянно оказавшиеся со мной рядом на минуту-другую. Люди, которых я никогда больше не встречу и не вспомню.

Но я сейчас озарен, я чувствую себя ясновидящим. Этот сутулый, в очках, самый терпеливый на вид, — жертва опрометчивой торопливости: поторопился жениться, поторопился нарожать детей, сейчас, не утихая, торопится заработать, чтоб прокормить семью, рвет, где только может, сверхурочные. Он уже устал, наверное, очень, жа-

лется на сердце, но не решается передохнуть. И возможно, ему еще отравляет существование престарелая теща.

Старик с одышкой был когда-то барственно красив, знал много женщин, ни одну не считал достойной себя. Давно уже он всеми забыт, зарос пылью и паутиной, вот-вот умрет от своей астмы, и никто ему не придет на помощь, и за гробом его пойдут случайные люди. Где-то в ветхом ящике он, наверное, хранит, как святыню, какую-нибудь реликвию своей победной молодости — веер или кольцо с камушком провинциальной актрисы. Верит теперь, что ее любил, ее одну, ошибается — любил только себя. Но все равно щемящая к нему жалость.

А почему-то больше всего жаль девицу, самую благополучную из тех, что стоят сейчас рядом со мной. Она ничем особым не одарена, но ничем и не обездолена. Она рано ли, поздно непременно найдет себе мужа, такого же неприязнательного, совет семейное гнездышко, нарожает похожих на себя детей... Она никогда не узнает ни лютого отчаяния, ни самозабвенного восторга. Потому-то и жаль ее, жаль до тоски — полусумеречная жизнь без ярких красок. Из-под ширпотребовской шляпки с фетончиками не увидит неба. А как часто оно будет сиять над ней!..

Недавно я был слеп, в голову не приходило попристальной взглянуть в тех, кто рядом, в тех, кто проходит мимо. Но только что испытал потрясение. Майя!.. Кажется, знал ее насквозь, знал и удивлялся, удивлялся и любил, любил и безумствовал — все в ней, до боли близкой, дорого, какие уж тут тайники. А она сейчас вспыхнула, осветила не только свое, мне неведомое, но и разбудила меня. Сверхновая звезда! Ослеп на мгновение и прозрел к многокрасочности — вижу вглубь людей, вижу их прошлое и будущее. Вижу и не могу не сострадать им, только вот еще не умею к ним подойти. Хотелось бы убедить того, в очках: не суетись, не рвись, не надрывайся по мелочам, семья от этого сильно не пострадает. И старику можно бы сказать, что величав, сохранил еще львиное, выделяется из толпы, пусть утешится хоть на один вечер. А девицу надо бы растревожить, пробудить ее так же, как меня пробудила Майя, к многокрасочности! Нет, я еще не волшебник, я только-только начал учиться. Мне нужен учитель — она, способная преображаться и преображать!

Сверхновая, вспыхнувшая?.. От него, от Гоши Чугунова?!

Во мне все стало дыбом против этого человека. Не могу принять — освободил себя от простых человеческих обязанностей, даже от обязанности добывать себе хлеб насущный. Даже себя, а уж других-то не накормит. Раньше спекулировал в забегаловках своей подозрительной свободой, теперь продает в розницу господу бога. Не могу принять.

Но Майя-то вспыхнула! С тобой не было, столкнулась с Гошей — случилось!

Она сегодня сделала меня ясновидящим, а потому я, кажется, узрел то, что до сих пор было скрыто. Мне нужна Майя — жить для нее, заботиться о ней, ради нее сворачивать горы, изобретать перпетуум! Но, наверно, столь же нужен был ей и я — для меня жить, обо мне заботиться, ради меня свершать удивительное.

Вспомни, как в трудную минуту она обронила: «Стань больным...»

Тогда бы она заботилась, тогда бы чувствовала себя нужной. «Стань больным» — от великого отчаяния можно сказать такие слова. И они меня не пробудили. Она продолжала жить бездеятельно, чувствовала себя ненужной. В конце концов вот не вытерпела...

А Гоша существует всегда за счет кого-то, всегда нуждается в чьей-то помощи и заботе. Как просто быть ему нужным. Она будет греть его своим теплом.

Да, Гоша — та спичка, которая вызвала пожарище! Хочешь не хочешь, а признай.

Как только не причудничает капризная судьба!

За щедрое тепло все-таки надо чем-то платить, хотя бы тем, что содержать привыкшую к удобствам Майю. Вот на это Гоша навряд ли способен, он скорее предпочтет мерзнуть.

Подошедший автобус забрал без разбору всех со всем их житейским. И меня в общей куче.

Я ехал домой в странном состоянии — горе смешалось со счастьем, потеря Майи с открытием Майи. Меня лихорадило. «Стань больным...»

А ведь, если я заболею, Майя знает, что за мной сейчас некому ухаживать, кроме разве соседей. Она не выдержит, примчится, не сомневаюсь в том.

Больным?.. Если бы... Я много лет ничем не болел, только насморком. Не свалился в постель и на этот раз.

Мой вопль долетел до Зульфьи, она откликнулась — голубой простенький конверт.

«Мой милый! Мой забытый! Мой памятный!

Я получила твоё письмо в день своего рождения. Увы, мне стукнуло тридцать восемь. Но на самом деле больше, я старая, старая, разучилась чему-либо удивляться на свете. Ничуть не удивляюсь и твоей беде — обычно.

Знаешь ли ты, что я, встретив тебя, жила в ожидании и затаенном хроническом страхе: вдруг да кивнешь — идем со мной! И побежала бы, стала бы другом и рабом, преданным и обезличенным. Но ты из тех, кто выдумывает себе идолов и поклоняется только им. Я же была не выдуманной и не сочиненной — некий одушевленный кусок трезвой действительности, не поражающий воображение, возможно, даже не очень приглядный. Я не подходила, а, право, жаль, потому что умела лучше тебя самого видеть то, что тебе нужно. Я угадывала бы, где ты можешь споткнуться, и умела бы вовремя предупредить, я знала бы наперед, какая твоя мысль исполнится, а какая бесплодна, и с бережностью пропальывала бы сорняки. И прощала бы твои слабости, и, наверное, смогла бы даже не дать почувствовать тебе бремя своих лет.

Ага, подумаешь ты. Вовремя же упреки, вот она, бабья месть! Может быть, чуть-чуть ты и прав, лишь самую малость. Но мне простительно слегка ковырнуть больное — свое, а не твоё — уже потому, что я тогда слишком тщательно его от тебя прятала. Ты догадывался лишь о малом. Сейчас в отчаянии взываешь о врачевании, не подозревая, что когда-то сам нанес рану. Она заросла, мой милый, но еще саднит.

Итак, тебе нужна помощь... О, это для меня не шуточное. Просто словом, как ты просишь, отделаться не могу. Я не сразу села за ответ, я думала несколько дней и ночей... И решилась!

Что ж, готова помочь, но сильно сомневаюсь, примешь ли ты мою помощь.

Надеюсь, ты не слишком высоко подпрыгнешь от удивления, если я объявлю тебе старым стилем: я помолвлена! На современном языке это означает: готова стать женой почтенного человека. Ему скоро стукнет шестьдесят, как, впрочем, и мне сорок. Он профессор, и толковый, три года назад овдовел, один из его сыновей уже штурму-

ст вулканы Камчатки, второй вот-вот окончит институт. Он умен, добр, лишен амбиции, даже несколько бесхарактерен, словом, меня с ним ожидает покойная жизнь.

Так вот, я готова отвернуться от этой жизни и от этого человека, ринуться к тебе, неустроенному, ненадежному, любящему другую. И никаких обязательств от тебя требовать не стану, и на прочный союз до гробовой доски рассчитывать не хочу, и опасение, что ты, обрета уверенность в себе, вновь сотворишь себе кумира и потянешься от меня к нему, не остановит. Пусть!.. Но буду рядом, пока тебе плохо, разделю твое одиночество. Для меня, я поняла, и это уже достаточная награда. Хочешь? Позови!

Заранее представляю, как ни безвыходно сейчас тебе, однако столь неумеренная решительность может привести в смущение.

Тебя смущает? Ты боишься ответственности?.. Ладно, не надо. Тогда уж наберись мужества и справляйся один. Но помни при этом — есть человек, готовый тебе помочь. Он предлагает единственное, что имеет, — самое себя! Большого уже никто тебе не предложит.

И пусть это как-то утвердит тебя в твоих глазах — не для всех ты лишний и безразличный!

Твоя *Зульфия*».

«Господь бог коварен, но не злонамерен». В разгар отчаяния он не добывает меня, а преподносит незаслуженный подарок. Не всем выпадает в жизни такая щедрость — меняю собственный покой на твои страдания! И нужно быть совсем бездушным истуканом, чтоб не чувствовать себя уничтоженно виновным — не в состоянии ответить тем же, не так богат.

Конечно же Зульфия и сама не верит — приму все, что она предлагает. Не настолько же я бесстыдно эгоистичен, чтоб ломать чью-то жизнь и обломками укреплять свою.

Хотя где еще можно столкнуться с такой самоотверженностью до самоотречения. Единожды не выпадает, уже на дважды нечего и надеяться. Пропустишь — не повторится!

Не проходи мимо редкостного! Не обворовывай себя!

Но мне весь мир застит она. Она одна!

Да, Зульфия, быть может, способна соперничать с ней в величии души. Только я не столь уж и много знал о душе Майи, когда полюбил ее.

Полюбил, а за что, собственно? Скорей всего за нич-

тожно малое — за своенравный изгиб губ, временами пронзительно трагический, хоть умри. Ни у кого из женщин на свете такого нет...

И знаю же, давным-давно знаю, что этот трагический изгиб — никак не отражение души, не ее собственность, просто игра природы. А поди ж ты... Коварная, однако, игра!

12

Иван Игнатьевич иногда звонил мне на работу. Но наши телефонные разговоры каждый раз уныло гасли, словно свеча под стеклянным колпаком. От них на весь день оставался угар.

В последний раз он обронил — намеренно или печально, бог весть — адрес Майи: Молодежная улица, дом 101. Все та же Молодежная улица — новая Галилея новооявленного Христа.

Я узнал, каким автобусом туда ехать, примерно представлял, на какой остановке сойти, и все путешествие могло занять лишь от силы полчаса. Она совсем рядом — полчаса езды! — но постарайся забыть об этом.

Забыть?..

Догадывался ли Иван Игнатьевич о фатальной власти оброненного им сведения? Уж коль ты его получил, то не выбросишь, не отделаешься — угнездишься, как вирус, начал час от часу расти, крепнуть, отравлять и без того отравленное существование.

«Не лей, мама, слезы по мне, не надо... Я... весь мир люблю, и весь мир, мама, мне отвечает любовью!..» Нет сейчас такой силы, которая заставила бы ее усомниться в своем счастье. Только время может вывести из заблуждения. Почему бы и с ней не случиться тому, что столь часто бывает с другими: чем больше опьянение теперь, тем сильнее похмелье со временем.

Головой я понимал — надо ждать, ждать и только ждать. Но человек менее всего приспособлен к ожиданию. Пассивное ожидание — бездейтельное оружие самых примитивных. Простейшие бактерии способны замирать на многие тысячелетия, дожидаясь благоприятных условий. Собаку заставить ждать куда трудней, чем выполнить сложное для нее действие. Человек — самое деятельное, самое нетерпеливое существо, ожидание противно его природе.

А я сейчас не был даже нормальным и уравновешенным

человеком. Я сутки за сутками, с утра до ночи, минута за минутой сжигал себя. Я думал о каком-нибудь затруднении в эксперименте, расчетливо сопоставлял новые данные со старыми, но на задворках этих рассудочно-холодных мыслей неизменно стояло зарево — она, негаснущая! Я перебрасывался со своими сотрудниками равнодушными или деловыми словами, но они, мои слова, плавали, как пена, на кипящей, клокочущей лаве — она и все несчастья, с ней связанные. Я сотни раз за день испытывал переливы — от глухой тоски к каким-то смутным надеждам, от надежд к беспросветному отчаянию, — и причиной была опять она, только она. Я с трудом засыпал теперь каждый вечер, и всегда с последней мыслью о ней, просыпаясь утром, я сразу же вспоминал ее. И это мне-то нужно набраться терпения — ждать... Сколько? Год, два, неизвестно. Мне замереть, впасть в анабиоз? Где уж, горю чадным пламенем.

Как мог, я крепился, но вирус сумасшествия плодился во мне.

Темным дождливым утром я вышел из дому, миновал автобусную остановку, до которой прежде провожал Майю. Миновал и двинулся дальше по Большой Октябрьской, едва ли не самой шумной и людной улице нашего города. И я, нет, не чувствовал себя в те минуты особо отчаявшимся или особо подавленным, не утомлен, не разбит, даже сносно спал эту ночь.

И вдруг шагах в десяти впереди себя я увидел... ее! Фонари натужно светили сквозь сеявший дождь, мокрый асфальт гримасничал в отвесах огней, деловитое шарканье сотен ног, влажный шум скатов по мостовой, рычание грузовиков. До оскомины знакомое кругом, ежеутреннее. И среди этого ежеутреннего, под косматящимся в мелкой мороси фонарем она, напористо устремленная, в незнакомой мне шляпке, в знакомом плаще, перетянутом поясом, несущая себя летящей походкой куда-то прочь от моего дома и от меня. Обвалилось сердце, секунду стоял, хватал ртом влажный воздух — и рванулся, чуть не сбив с ног встречного...

Мимо гастронома с еще темными витринами, мимо комбината «Химчистка», к кинотеатру «Радуга», где я когда-то впервые прикоснулся к ее руке... Я спешил за ней, боялся приблизиться и боялся потерять из виду — среди чужих спешащих людей, сама чужая, не ведающая обо мне, проходящая...

На перекрестке за кинотеатром «Радуга» она остановилась, нетерпеливо дожидаясь, когда пройдет поток машин. Я даже не успел подойти к ней поближе. Как только она остановилась, я сразу понял — ошибся, совсем не похожа, даже фигурой. И эта нелепая шляпка на волосах, и неаккуратно пузырящийся плащ... Издалека на секунду мелькнуло лицо — не слишком молодое, до обидного простоватое, оскорбительно несовместимое с тем, каким бредил я.

Я дождался, женщина двинулась через мостовую — походка-то должна же быть похожа... Но нет, грубо энергичная, порывистая, вовсе не летящая.

Вечером, возвращаясь, вновь проходя мимо кинотеатра «Радуга», я вспомнил утренний случай и не устыдился оплошности — почему бы и в самом деле случайно не встретить ее на улице, могут же быть маленькие чудеса? Совсем маленькие, ну, скажем: открою сейчас дверь в комнату и увижу, у порога стоят ее ботики рядом с моими домашними шлепанцами...

Может быть, почему бы нет... И я ринулся вперед, прорываясь сквозь прохожих. Я, конечно, пытался охладить себя: не дури! С чего бы это вдруг! Возьми себя в руки!.. Но ботики перед глазами рядом со шлепанцами...

Вверх по лестнице на пятый этаж я бежал бегом, перемахивая через несколько ступенек. Ключ долго не падал в замочную скважину...

У порога лежали мои шлепанцы, поношенные и отрезвляюще одинокие. Самый воздух в квартире казался чердачно-нежилым.

Но она, недоступная, как мираж, близко! Молодежная улица, на автобусе меньше чем за полчаса.

13

Я почти забыл о нем, как почти забыл случай с мальчиком-отцеубийцей. Серое утро, толпа перед домом, незнакомец, отыскавший меня взглядом в толпе, — утонуло в памяти, погребено под свалившимся на меня несчастьем, а казалось же, весь век будет саднить и сводить с ума, не излечишься! Нет, другие раны теперь кровоточат.

Но в этот вечер, как только я потушил свет, он вдруг явился ко мне. Странно, без всякого повода, ничем не вызванный. С отчетливостью более яркой, чем наяву, я увидел его: шляпа, надвинутая на лоб, крупное, пожалуй,

даже породистое лицо с резкими складками, обличающими недюжинный характер, и глаза, устремленные на меня, то ли во мне открывшие что-то, то ли что-то от меня ждущие. Незнакомец — человек-загадка! Почему я, именно я из всей толпы? Что он открыл и чего ждет?..

Ночь. Тяжелая, непробиваемая осенняя почь, способная заставить даже счастливца поверить в одиночество. Она мне, заброшенному, привела товарища, таинственного, как судьба. Ворочаясь под одеялом, я разгадывал тайну — его и свою одновременно.

Сам ты только слышал, а он-то видел тогда своими глазами, что стряслось. Ты отравился, он по давню должен быть отравлен. Ты испугался за людей — не светопреставление ли грядет? — почему его не мог охватить ужас? Поставь себя на его место перед толпой, кого бы ты в ней стал искать? Счастливцев! Да, чтоб убедиться — они не миф, не выдумка, есть на земле, жизнь не вырождается.

А рядом с тобой была Майя, она бросается в глаза, ее всегда замечают среди других. Ты с ней, как же тебя не принять за счастливца, как не порадоваться такому чуду, мысленно не потребовать: берегите, может быть утеряно. Увы, не ясновидец, а заблуждавшийся. Ты и тогда уже счастливым не был.

Он мне стал братски родствен, тот незнакомый человек, то же чувствует, того же желает, не чужак и никак не враг.

Ночь, утопившая в себе все кругом, у меня, одинокого, в гостях призрак друга. Всего-навсего призрак, но и тому рад...

Я клочковато спал, всю ночь продирался к черному утру, встал с каким-то неясным и неприятным ощущением — то ли я что-то потерял вчера, то ли сделал что-то постыдное, то ли жду каких-то неприятностей. А какие там неприятности? Все неприятное уже со мной случилось, день грядущий мне не может ничего обещать. Ровно ничего!

Перед этим необещающим днем мне надо было себя покормить. Я пошел на кухню, поставил на плиту чайник.

Над кухонным столом висел отрывной календарь, я каждое утро срывал с него листок — не прошедший день, а день начавшийся. Сорвать и выбросить, считать, что минул, — жалкая подачка моему ожиданию: время работает на меня.

Сорвал я и теперь — 29 ноября, пятница. В этот день

в 1920 году была установлена в Армении Советская власть. Возможно, там уже готовятся к празднику. Возможно, там не льет дождь, над горами восходит солнце, окрашивает их в фантастические цвета. Южная, неведомая мне страна, хочется верить, что там сейчас все иначе...

Других исторических событий, случившихся в этот день, календарь не обещал. Хотя... Вот те раз! Мелким шрифтом под «пятница»: «Сегодня полное лунное затмение».

В этом году второе. Я-то думал, что такое случается очень редко, далеко не каждый год и уж никак не дважды в году.

На обороте листка в самом конце все тем же мелким шрифтом тесно: «...Доступно наблюдению по всей территории Советского Союза. Луна будет находиться в созвездии Тельца, над звездным скоплением Гиад, расположенным около Альдебарана.

Начало затмения в 16 час. 29 мин.

Момент наибольшей фазы в 18 час. 13 мин.

Конец в 19 час. 59 мин.».

Над Настинным омутом в ту ночь потусторонними голосами кричали лягушки. И лицо Майи, вскинутое к Луне, было прозрачно-русалочьим. Ее испугала улыбка мироздания — вечность висела над нами!..

С этих минут началось короткое, но великое мое счастье.

Короткое?! Не соглашусь! Если оно не вернется, жить не смогу. Без него сплошной мрак или унылая бесцветность. Если бы не знал, не испытал, то думал, жизнь такова и есть, а она, оказывается, может быть захватывающе красивой. Иной не хочу. Отравлен...

Что, если бы Майя знала, что творится со мной сейчас! Если бы она могла заглянуть внутрь, неужели бы не содрогнулась, неужели бы осталась бесчувственной! Она равнодушна к благополучным, но отзывчива на чужое несчастье. Сравни теперь, Майя, меня с Гошей Чугуновым, сравни и реши, кто несчастней и кому ты больше нужна.

«Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним!» Сострадание рождает любовь!

До сих пор я лишь жалко рассчитывал на время — жди, и желанный плод созреет, сам свалится в руки. Не существует способа ускорить события.

Есть! Есть! Надо просто открыть ей глаза на самого себя!

Колокольчик прокаженного звенит надо мной. Отвернется от прокаженного?! Хотела бы, да не сможет, сверх ее сил, противоестественно для нее!

Господи! На что рассчитывал — на ожидание: авось случится. На авось! И на годы... У Бориса Евгеньевича прошло целое десятилетие, после которого было поздно поворачивать назад.

Она близко — на Молодежной улице, стоит только сесть в автобус...

Сегодня полное лунное затмение. С лунного затмения началось тогда твое счастье...

Чайник давно вскипел и пыхтел на плите, но у меня уже не хватало терпения выпить чаю, выключил газ, вышел из кухни, натянул плащ.

Наверное, с такой вот решительностью люди, никогда не совершавшие преступлений, идут на взлом или на убийство. Где-то в глубине мозга, в его периферийном углу шевелилась рассудочно хилая мыслишка: вовремя ли вылазка, не с бухты ли барахты действуешь, оглядись, взвесь, ни час, ни день не решают... Но этот далекий рассудочный шепот вызывал лишь досадливое к себе презрение: без рефлексий не можешь, гнилой интеллигентшика! И к решительности примешивалось раздражение, почти злоба.

С этим я и вышел на улицу.

А дождь лил и лил. И ночь, оборвавшая день вчерашний, все еще продолжалась, выкрадывая у людей утро.

14

Дом номер 101 оказался напротив автобусной остановки — «с калиткой ветхой, обрушенным забором...». При дождливом рассвете ее обиталище поразило меня своей неприкаянной ветхостью и заброшенностью: щербатая, обморочно запрокинутая изгородь, неряшливо клочковатые, обнаженные кусты, ржавая осевшая железная крыша за ними. И сама калитка болезненно перекошена, как физиономия алкаша, хватившего на опохмелку ту самую первую, которая «колом». И пронизывающая серая мгла, все мокро, черно, разбухло, поникло от промозглой сырости.

Весь этот конец Молодежной улицы выглядит запущенным, несовременно нищенским. На нем печать обреченности, никто здесь не ремонтирует свои дома, не по-

правляет заборы, хозяйские руки уже не прикасаются ни к чему — ни свежеструганной доске, ни пятна яркой покраски, тусклота, кособокость, подпорки. Здесь не живут, а доживают.

Скоро ревущие бульдозеры, подымая облака пыли, свалят эту вековую бревенчатую труху, сметут с земли, освободят путь наступающему городу. И жители этого провинциального конца Молодежной улицы станут самыми обычными горожанами, для которых водопроводный кран заменит скрипучий колодезный ворот, газовая плита — печь с челом, лоджия или балкон — крылечко-веранду. А дом под номером 101, пожалуй, обветшалей других. У меня сжалось сердце: вот как выглядит снаружи Майкино счастье — перекошено и обречено!

Я стоял под навесиком автобусной остановки. Появлялись люди, ждали вместе со мной, исчезали с подходящими автобусами. Навес плохо спасал от дождя, я промок, продрог, ветер насквозь продувал меня. И в шагах двадцати, за черным, тускло отсвечивающим шоссе, за широкой лужей на обочине страдальческая калитка, ведущая в обиталище счастья, похожее на заброшенный пустырь. Да не ошибка ли? Может ли Майя жить в такой заброшенности? И есть ли тут вообще живая душа?.. Но не мог же Иван Игнатьевич дать мне ложный адрес. Я мерз и ждал, подходили и уходили автобусы, оставляя меня в одиночестве. А время тянулось и тянулось, а дождь лил и лил, день давным-давно уже вызрел, мокро поникший день, какой-то тусклолуженый. Конца ему не было.

Первое шевеление жизни за заборчиком я, как ни странно, проглядел. Увидел Гошу Чугунова, когда он вынырнул из-за кустов, завозился, открывая перекошенную калитку. Он вышел и остановился перед разлившейся лужей — в мешковатой поролоновой куртке, в кургузой кепчонке, слишком легкомысленной даже для его невнушительной бородачки.

Тяжелый грузовик с двумя прицепами, угрожающе устремленный, закрыл на секунду от меня Гошу, и, когда, овеянный брызгами, с ветром прогремел мимо, я увидел рядом с Гошей ее... Голова закутана в шерстяной платок, воротник плаща поднят, плечи вздернуты — непривычного облика, слишком простовата, ни дать ни взять аборигенка этой городской провинции, никак не та Майя, которую я видел недавно.

Ну, вот и свершилось.

Глубоко засунув руки в карманы плаща, я двинулся папскосок через дорогу, чтоб обойти лужу и встать лицом к лицу с пей. Зверовидно громадный МАЗ взвизгнул тормозами, вильнул, обдал меня водяной пылью, с пегодующим ревом ушел.

Они узнали меня, когда я подошел вплотную.

Из-под платка, скрывающего брови, распахнулись глаза — сплошные немотно изумленные зрачки. И до горловой спазмы трагически надломленные губы. В трех шагах от меня, подойти ближе уже не смог — перестали слушаться ноги.

Я хотел ей сказать, что колокольчик прокаженного звенит надо мной... Но я вгляделся в ее разверстые, остановившиеся глаза и в них увидел себя — мокрого, окоченевшего до мертвенности, измученного ожиданием, раздавленного страхом перед ней. Нужно ли ей говорить, она знает все, ничего не открою. Наверняка она знала и до этой встречи... Имела ли то высокое счастье, в каком она с горящим лицом уверяла недавно мать и отца? Может быть... Она лишь скрыла тогда, что это ее высокое отравлено мною — думает, изводится оттого, что я ею брошен в проказе... Я там, за семейным столом, не выглядел столь жалким, потому набралась сил и скрыла...

Сейчас ее губы гнулись, ресницы вздрагивали, а глаза плавилась. А я стоял и ничего не мог выдать из себя. Молчание сгущалось и давило, звон в ушах, трудно дышать. Она не смела и не считала своим правом оборвать это молчание, я понял, будет терпеть, пока в силах держаться на ногах. Я явился, я и обязан что-то сказать, сделал над собой усилие и сам поразился своему неподатливо-хриплому, простуженно-шершавому голосу:

— Мне... Мне надо посмотреть на тебя, Майка... Я уйду... Я только взгляну... Я начинаю видеть тебя всюду... Мерещишься... Я, кажется, схожу с ума, Майка...

И губы ее побелели, скулы окаменели, а из расплавленных глаз хлынуло — даже не страдание, а что-то покорное, униженное, почти собачье.

Все! Свершилось!.. Я понял это и не удивился, не обрадовался. Не слова, нет, а сам звук моего больного голоса сломал ее. Теперь она уже вместе со мной станет сходить с ума.

Мне нужно сейчас повернуться и уйти, оставить ее один на один с Гошей, со счастливым Гошей, столь непохожим на меня. И Гоша станет ей чужим, а со временем — ненавистным.

Следовало уйти, но оторвать себя от нее я не мог. Стоял, мучился, мучил ее. Не слушались ноги.

И тут выступил он.

— Старик, — сказал он, и борода его раздвинулась в широкой улыбке, светлые глаза смотрели дружески, прямо и просто, а голос задушевен и торжествен. — Что делать, старик, мы любим друг друга.

До сих пор мне было не до него — рядом Майя, ничего не существовало, кроме нее: Майя, ее глаза, ее побелевшие губы. Теперь пришлось повернуться к нему. Сухое лицо стало как будто поглаже, борода поопрятней, не столь клочковата, и глаза светлые, непорочно чистые, гляди не гляди, ни тени в них, ни пятнышка — сквозные. И узкие плечи его горделиво разведены под просторной, словно надутый, курткой, и на тонкой шее вздрагивает не закрытый бородой острый кадычок — ничуть не взволнован, не растревожен, весь параспашку, правый человек, готовый ко всепрощению и отзывчивости. Дружеская улыбка и... «Что делать, старик, мы любим друг друга». Явно без всякой задней мысли, со святой убежденностью.

Он даже и не подозревает о своей жестокости. Все видел, все слышал — перед тобой же человек с оскверненной жизнью! Хоть на секунду ощути свою вину, хоть посочувствуй. Нет! «Что делать, старик...» Делать нечего, так тому и быть. И при этом готов любить от души... Вот так, любя, с простецкой улыбкой пройдет по костям друго и не поймет. «Что делать...»

Никогда прежде не испытывал к нему ненависти. Сейчас она вспыхнула внезапно, ослепила и помutilа.

Только что мы стояли друг против друга — один шаг. Он открыто и дружески улыбался всей бородой, а я таращил на него глаза. Не помню, как я шагнул вперед, помню лишь, как мой кулак встретил его улыбку... Что-то хрустнуло под моим кулаком, и он свалился.

Раздался надсадно-раненый вопль. Перед моими глазами оказались ее безумные глаза, растянутый рот, бледное, искаженное от ненависти ее лицо.

— Т-ты!! Т-ты!! Под-лец!

Сбитый с ног Гоша неуклюже пытался утвердиться на четвереньках, и борода его на длинной тонкой шее пьяно покачивалась над грязной землей.

— Тты-ты!! Бей!! Меня бей!! Меня!!

Я не мог выдержать опаляющей ненависти, отвернулся, вяло и туно пошел прочь сквозь дождь.

Удивительно, в эту минуту я отстраненно и трезво за-

мечал все, что происходило кругом: взъерошенная дворняга подымала на забор лапу, горбатенький «Запорожец» старого выпуска промчался по шоссе в мутном облачке брызг, с автобусной остановки взирала на пас женщина с кошелкой.

15

Дома на кухонном столе лежал оторванный листок календаря — 29 ноября, пятница. Сегодня полное затмение луны...

Ее искаженное гневом и ненавистью лицо: «Подлец!! Меня бей!! Меня!!!» А за минуту до этого она меня любила. Почти любила... И: «Под-лец!!» И Гоша, ползающий по грязной земле, борода, качающаяся на тонкой шее...

Если бы он хоть имел такие же широкие плечи, как у меня. Нет, худ, тощ, никак не кулачный боец. Бил слабого! А я был всегда убежден: лучше его, заполненной, честней, добрей. Добрей?! И кулаком так, что хрустнуло.

Кровь ударила в голову... Кровь туземцев деревни Полянка, где запутанные сердечные дела парни извечно решали кулаками.

Не грехи на родную деревню. Взыграла злоба, слепая и бессмысленная, жившая в твоей глубине. Взыграл зверь, который в тебе прячется!

«Под-лец!!»

Вот и конец всему! Она уже не вернется — ни скоро, ни через год, ни через десять лет!..

Шел затяжной, ровный, холодный дождь за окном. Сумерки сгустились, день угас. Меня знобило, я сегодня еще ничего не ел. Моя человечья оболочка продолжала жить, хотела согреться, просила горячего чая. Я послушно встал, зажег газ под чайником, включил свет.

Листок отрывного календаря передо мной — 29 ноября, пятница... Буду помнить этот проклятый день.

«Луна будет находиться в созвездии Тельца, над звездным скоплением Гиад... около Альдебарана...» Сейчас без пяти минут пять. Затмение уже началось.

Дождь за темным окном, обложной дождь над городом. Где-то там, над дождем, в кажущемся соседстве с далекой звездой Альдебаран затемняется наш величественный спутник. Где-то взрываются светила, гибнут и рождаются миры. Никому нет до этого дела на нашей Земле, кро-

ме ученых чудаков, вроде академика Маркова. Дождь, дождь над нами, скрывающий вселенную...

Тот же дождь сейчас идет и над Настиным омутом. И уже не кричат там потусторонними голосами лягушки. У нее было прозрачное русалочье лицо...

С затмения Луны у нас началось, затмением кончилось. А оказывается, эти затмения происходят куда чаще, чем я думал.

Да пусть всегда исходит на меня твой свет!

Да будешь ты вечна...

Вечность оказалась смехотворно короткой — от одного затмения до другого.

И остался для меня лишь один вечный вопрос: может ли человек понять человека, человек человека уважать и любить?

День закончен. Пережил его, переживу вечер, лягу спать. И ко мне, должно быть, снова явится незнакомец, всепонятливый, страдающий призраком кого-то, живущего в стороне.

Может ли человек понять человека, человек человека уважать и любить? Может, есть такие, да наяву их встретить трудно — призрачны.

29 ноября, пятница. На земле дождь, а в небесах очередное событие... над скоплением Гиад, около звезды Альдебаран. Недостигаемо далека, как эта звезда, для меня Майя. А ее-то близость и делала мне близким весь мир, все человечество. Что же, жить удаленным от всех?..

Полное для меня затмение.

• • • • •
• • • • •
• • • • •

Затмения преходящи. Пусть найдется такой, кто бы не проходил сквозь них.

Переплетены люди между собой. Проросли люди друг в друга многими, многими связями. А самая простейшая, самая короткая человеческая связь — Он и Она! — начало всему. В ней прочность нашего бытия. Тут чаще всего у нас рвется. Тут каждый проходит экзамен на проникновенность — он в нее, она в него! Пойми и признай человека, единственного из всех, назначенного делить с тобой путь. Пойми! Нет, трудно.

Воистину: за понимание друг друга люди платят кровью и кусками жизни.

Мы оба заплатили сполна.